



## В номере:

### Наши современники

- Николай Блохин. **Сказание Сергея Параджанова** ..... 3  
Ольга Авдеева-Мокрак. **Уходят хранители русского слова** ..... 7

### Великая Отечественная война

- Зоя Афтеней. **Блокада** ..... 12  
Алла Ступина. **Страницы истории** ..... 20

### Проза

- Владимир Уланов. **Бунт** ..... 21  
Виктор Славянин. **Свой крест** ..... 62  
Олег Цуркан. **Чистый лист** ..... 81

### Поэзия

- Олег Рубинштейн ..... 94  
Роза Абрамян ..... 96

### Лаб-рия сатиры

- Юрий Харламов ..... 98

### Литература для детей

- Светлана Бурка. **Важный индюк** ..... 100

### Дневник путешественника

- Ирина Коротченкова. **Пансори** ..... 102

Журнал «Наше поколение» основан в 1912 году.  
Выпущено было 10 номеров. Выпуск возобновлен в 2009 году.

**Журнал «Наше поколение» готовится при творческом участии:  
Международного сообщества писательских союзов  
Союза писателей России  
Московской городской организации Союза писателей России**

Учредитель

**Козий Александра Петровна**

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Министерством юстиции Республики Молдова №229 от 18 февраля 2009 г.

### **Редколлегия:**

Главный редактор

**Георгий КАЮРОВ**

Редактор интернет-журнала

**Виктор ХАНТЯ**

Главный бухгалтер

**Ольга ДОДУЛ**

Редакционный совет номера

**Николай Переяслов, Михаил Попов, Владимир Силкин, Дмитрий Нечаенко,  
Ольга Бедная, Анна Кашина, Юрий Харламов, Александр Милях, Алексей Дука,  
Виктор Хантя, Матвей Левензон, Дмитрий Градинар, Максим Замшев, Иван Дуб,  
Анна Малдофа, Маргарита Сосницкая, Виталий Ткачев, Сергей Маслоброд.**

Литературный редактор

**Вера ДИМИТРОВА**

Корректор

**Светлана БРОНСКИХ**

Художники-иллюстраторы

**Эдуард МАЙДЕНБЕРГ, Елена ЛЕШКУ**

Фотограф

**Валерий КОРЧМАРЬ, Юрий ГЕРАЩЕНКО**

Дизайн

**Издательский Центр «Наследие»**

Вёрстка

**Вячеслав ЗАДЗИК**

Адрес редакции: Кишинев, ул. Пушкина, 22, оф. 317

E-mail: [nashepokolenie@pisem.net](mailto:nashepokolenie@pisem.net)

[www.nashepokolenie.com](http://www.nashepokolenie.com)

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Нашего поколения» запрещена.  
Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не имеет возможности вступать  
в переговоры и переписку по их поводу, а только извещает авторов о своём решении.

Николай БЛОХИН

## Сказание Сергея Параджанова

**В** книге «Изгнание Параджанова», изданной в 2002 году, я написал: «Когда, спустя годы, к режиссёру обратился журнал "Искусство кино" с просьбой написать статью о своём опыте в кинематографе, Сергей Иосифович признавался, что ему "отнюдь не хотелось заниматься самоистязанием"».

Но пересматривать многие свои фильмы ему действительно было тяжело. Тем более что каждый из них – результат самых благих намерений. Тот кинематограф, к которому стремился Параджанов, по его собственному признанию, «требовал слишком высокой культуры, вкуса и выдержки».

«В его мир, – вспоминал режиссёр на страницах журнала "Искусство кино", – надо было входить свободным от заведомых канонов, от старых привычек и впечатлений».

Для дипломной работы Сергей Параджанов взял очаровательную поэму-сказку Эмилиана Букова «Сказание об Андриеше», по мотивам которой и сделал свой первый фильм. Он писал, что это единственная из ранних его картин, несовершенства которой он не стыдится. На «Молдавскую сказку» – так назывался фильм в окончательном варианте – его вдохновили рисунки одного из вгиковских дипломантов.

«До меня почти сразу дошла поэтика этой вещи. Песни о пастухе, потерявшем стадо, – символ любви и удачи – я слышал и в Грузии, и в Армении, и уже после, в Карпатах. Я пытался создать выразительный строй, исходя непосредственно из народной поэзии, мифологии», – вспоминал Параджанов.

В своей практике Параджанов даже на ранней стадии своего творчества чаще всего обращался к живописному решению, а не к литературному. Позднее он признавался, что ему доступнее всего та литература, которая в сути своей – «преобразованная живопись». Такой ему виделась поэма-сказка Эмилиана Букова.

Об этой книге зарубежная пресса однажды отозвалась так: «Книга Букова по своим тиражам на иностранных языках превысила численность населения его республики».

Благодаря Эмилиану Букову миллионы людей, говорящих на молдавском и румынском языках, смогли прочесть бессмертный роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Он первым

перевёл на молдавский язык Владимира Маяковского, публиковал о нём статьи.

А русский читатель узнал поэму-сказку «Андриеш» Эмилиана Букова благодаря издательству «Детгиз» (позднее «Детская литература»), где в 1942 году вышел сборник «Я вижу тебя, Молдавия». В него были включены как стихи, так и проза. Здесь же увидел свет и «Андриеш».



Сергей Параджанов

На русский язык поэму-сказку Эмилиана Букова перевёл Владимир Державин, редактировал книгу Самуил Маршак. На Всесоюзном конкурсе детской литературы поэму-сказку «Андриеш» жюри удостоило второй премии. С тех пор она издавалась на многих языках народов СССР, переведена на иностранные языки. К 1985 году, по данным Государственной библиотеки имени В. И. Ленина, её тираж составлял более четырёх миллионов экземпляров.

В моей домашней библиотеке есть «Сказание об Андриеше» Эмилиана Букова, изданное в 1985 году издательством «Детская литература» тиражом сто тысяч экземпляров. Перевод с молдавского выполнил Аркадий Штейнберг. На рисунки к сказке художника Александра Мажуга вдохновил фильм Сергея Параджанова «Андриеш». Увлечение талантливого художника фильмом Параджанова объясняется довольно просто. «Я всегда был пристрастен к живописи и давно уже свыкся с тем, что воспринимаю кадр как самостоятельное живописное полотно», – вспоминал Параджанов.

Не знаю, читал ли Александр Мажуга это признание Параджанова, но он увидел фильм режиссёра именно как «живописное полотно». Его рисунки, иллюстрирующие книгу Е. Букова, выглядят как сменяющие в картине друг друга кадры.

На защите дипломной работы Р. Юренев упрекнул Параджанова в том, что тот подражает Довженко, его «Звенигоре». Довженко вступился за выпускника ВГИКа, совершенно точно угадав, что Параджанов «никтолы не бачив его картины». Сергей Иосифович посмотрел её позже и увидел, что в чём-то действительно повторяет Довженко.

Но эта схожесть не огорчила его, как не огорчает нас повторение фольклорных мотивов.

«Мне, – вспоминал Параджанов, – видимо, посчастливилось прикоснуться к тому же источнику, из которого черпал великий поэт».

По совету Довженко Параджанов поехал на Киевскую студию, чтобы снять на том же материале новый фильм. Им стал «Андрееш» – семичастевая детская картина, которую он поставил в соавторстве с Яковом Базеляном. По оценке самого Параджанова, она «ярко выразила отсутствие опыта, мастерства и хорошего вкуса».

Сюжет этого фильма, на первый взгляд, довольно прост. В трёхтомнике «Советские художественные фильмы» он изложен таким образом: «Мирно жили люди в деревне на Молдове. Пастушонок Андрееш пас овец на широких лугах и мечтал стать похожим на богатыря – пастуха Войнована. Однажды Войнован подарил мальчугану свой волшебный флуер. Заиграл Андрееш чудесную песню на расписной свирели Войнована, пробуждая светлую радость в людях. Услыхал эту песню и Чёрный Вихрь, злой волшебник, ненавидящий всё живое. Страшная буря поднялась над деревней. На глазах у мальчугана закружило и унесло ввысь испуганных овец. Маленький Андрееш решил вступить в борьбу с лютым врагом. Он пробрался в замок Вихря, чтобы песней своего флуера вернуть к жизни окаменевших овец. Но Чёрный Вихрь обратил в камень и самого Андрееша. На помощь мальчику поспешили Войнован и его друзья. Они победили злого волшебника, который тут же сам обратился в чёрный камень».

Входить в кинематографический мир Параджанову с этой картиной было сложно, потому что в советском кино уже существовала модель сказки на экране, и разрушить её в те годы молодому режиссёру явно было не под силу. Сконструировал её Артур Артурович Роу.

К началу пятидесятых, когда Параджанов делал только первые шаги в кино, А. Роу уже принадлежали такие знаменитые вариации на тему русских народных сказок, как «По щучьему велению» (1938), «Василиса Прекрасная» (1939), «Кашей Бессмертной» (1944).

Начиная с его первой самостоятельной работы – фильма «По щучьему велению», с годами за А. Роу закрепилась роль великого сказочника в кино. Сказочное кино для всех возрастов стало основной темой его творчества.

Но к середине пятидесятых годов, как отмечали кинокритики, особенно заметной стала условность модели, созданной А. Роу, её макетность, марионеточность и мультипликационность.

К фильму «Андрееш» Параджанов пришёл, видимо, не случайно. В 1946 году он поступил во ВГИК, в мастерскую режиссёра Игоря Андреевича Савченко.

К тому времени это был известный в стране и актёр и кинорежиссёр. В фильме «Двадцать шесть комиссаров» Савченко сыграл роль лидера эсеров. А через год, в 1934 году, дебютировал как режиссёр, поставив по одноимённой поэме

Александра Жарова фильм «Гармонь». Это была одна из первых советских музыкальных комедий.

«В этом фильме, – писал кинокритик О. Якубович, – взволнованно, с молодым задором рассказывалось о жизни комсомольцев советской деревни. Поэтическое изображение природы гармонично сочеталось в фильме с раскрытием чувств людей, песнями, стихотворным диалогом. Сам режиссёр играл остро гротесковую роль кулацкого сына Тоскливого».

В 1936 году на экраны вышел новый фильм И. Савченко «Случайная встреча». Созданный в жанре комедии, он полюбился довоенному зрителю. Увлекательный детский приключенческий фильм о гражданской войне на Украине «Дума про казака Голоту» режиссёр поставил по рассказу А. Гайдара «РВС». Фильм вышел на экраны в 1937 году. Историко-революционный фильм «Всадники», поставленный И. Савченко в 1939 году, продолжал развивать тему народной борьбы и героического прошлого русского и украинского народов. Выдающимся достижением украинского киноискусства критика того времени считала фильм «Богдан Хмельницкий». За создание этой монументальной народно-героической драмы в 1942 году И. Савченко была присуждена Сталинская премия (позднее, после XX съезда КПСС её стали называть Государственной премией СССР).

В годы Великой Отечественной войны И. Савченко снял несколько фильмов, посвящённых освободительной борьбе советского народа. Среди них «Квартал №14» (1942). По пьесе А. Корнейчука режиссёр поставил фильм «Партизаны в степях Украины» (1943). А в 1945 году на съёмках цветного фильма «Иван Никулин – русский матрос» впервые освоил метод трёхцветной гидротипной печати.

Во время поступления Параджанова во ВГИК Игорь Андреевич работал над цветным фильмом «Старинный водевиль». Сценарий был написан тоже Савченко по мотивам популярного водевиля «Аз и Ферт, или Свадьба с вензелями», написанного в 1849 году начальником репертуарной части императорских театров Санкт-Петербурга Павлом Сергеевичем Фёдоровым (1803-1879).

Событиям Великой Отечественной войны режиссёр посвятил фильм «Третий удар», удостоенный в 1949 году Сталинской премии и Главного приза на Международном кинофестивале, который проходил в 1948 году в чехословацком городке Злине. Но это было потом. А в начале 1947 года Савченко подыскивал себе ассистента. Из всех своих учеников он взял на эту должность Сергея Параджанова.

«...Товарный эшелон вёз меня в Крым – меня, ассистента режиссёра, вместе с дотами и дзотами Круппа, с шарнирными и мягкими чучелами

немцев, с картонными танками и огнемётами. В это лето на Киркинезском перешейке не цвели мальвы... не белили бабы хат из немецких касок... война, даже киновойна, пугала их. В надежде на "пятёрку", в надежде познать предмет я со стадом коров брошен на заминированное поле "турецкого вала". Вот она, Генуэзская крепость, Киркинезский залив... Его перебежал заяц из Лисьей норы – надёжное убежище немцев. Я познаю предмет и вхожу в неё... различаю в потёмках... ниша для каски – готика... ниша для ружья – готика... нары в готической арке... ниша для котелка – готика. Готика, то ранняя, то поздняя, но готика. А вот и автор, породивший готику Кёльнского собора и готику Лисьих нор. Его каска... он сам... его портмоне... истлевший мундир. Я оставляю его в темноте готики и выхожу с трофеями на свет. Монеты всех стран, которые прошли немцы... серебро, медь, алюминий, советские десять копеек... и рыжий локон в целлулоиде... может быть, ребёнка?

Каска. Я долго всматриваюсь в неё... со дня заржавевшей каски смотрит на меня мадонна – она тоже готическая... Я невольно сравниваю с локоном... Она тоже рыжая», – именно так описал свои впечатления Параджанов после съёмки фильма «Третий удар». Для него уже тогда не существовало мелочей. Каждая вещь имела притягательную силу.

На главную роль в фильме «Тарас Шевченко», съёмки которого начались в конце сороковых годов, Игорь Андреевич пригласил молодого актёра Сергея Бондарчука. Ассистентом у него вновь был Параджанов. Завершить работу над фильмом не удалось. Савченко скончался в самый разгар работы. Это произошло 14 декабря 1950 года.

Фильм закончили после смерти Савченко его ученики А. Алов и В. Наумов. Он вышел на экраны в 1951 году. На VII Международном кинофестивале, проходившем в Карловых Варах, режиссёру был присуждён Особый почётный диплом. На родине фильм получил более высокую оценку. В 1952 году создатели фильма «Тарас Шевченко» были удостоены Сталинской премии. Спустя шестьдесят лет, этот фильм, рассказывающий о несгибаемом поэте и художнике, остаётся одним из лучших.

Именно с таким мастером отечественного кино Параджанова и свела судьба. Сам Параджанов так рассказывал о первой встрече с известным режиссером: «Как я поступал? Об этом может быть написана целая поэма. Все считали, что я одарённый. Даже Министерство культуры Грузии дало мне примус, валенки и такой... сторожевой тулуп. Это была дань государству моей судьбе. Я в этом туалете приехал в Москву, после войны. И сразу встретился с выдающимся мастером, таким, как Савченко. Он спросил: "Зачем вы пришли в кино?"

Я ответил, что учусь в Тбилисской консерватории, но хочу делать музыкальные фильмы и экранизировать оперы. Он сказал: "Это интересно. Пойдёмте со мной". Меня заставили что-то нарисовать, что-то станцевать, что-то спеть. Я приехал после войны и поступил в три института сразу. Не знал, в какой пойти. Это были голодные годы. Мы кушали по четыреста граммов хлеба по талонам. Стоя в очереди за хлебом, иногда теряли сознание. Файзиев одалживал мне кусок хлеба с тем, чтобы я потом отдал бы ему обратно. Это в очереди. А во ВГИКе на нас смотрел Савченко, и в зале не было стульев. Мы сидели на каких-то лавках. А кое-кто прямо на полу. И всё равно было какое-то другое отношение и к искусству, и к авторитету педагога».

После практических уроков у Савченко на съёмках фильмов «Третий удар» и «Тарас Шевченко» Параджанов не раз с благодарностью вспомнит своего учителя. Время от времени до него доносились слова педагога: «Люди, мыслящие ассоциациями, быстро снашиваются...» Как и все его сверстники, Сергей Иосифович лишь смутно догадывался тогда, что это значит – мыслить ассоциациями. Зато видели, с какой грандиозной, с какой неуёмной самоотдачей живёт их учитель, и относили эти слова прежде всего к нему самому.

«После уже мы поняли, – вспоминал Параджанов, – что Савченко говорил именно о таких вот моментах – самых трудных и самых незабываемых. Он часто, чаще многих других, испытывал это, и мы стихийно, с первых же встреч попадали под обаяние его мышления, его ощущений...»

Дебютный параджановский фильм «Анриеш» кинокритики практически не заметили. Справочники отмечают всего лишь несколько газетных публикаций. Среди них рецензии, опубликованные в «Комсомольской правде», «Советской культуре» и «Советской Молдавии». Да и те неблагоприятные. Подтверждение тому краткая и безапелляционная аннотация в справочнике «Режиссёры советского художественного кино», изданном в 1963 году: «Сохранив идейно-сюжетную основу литературного первоисточника, авторы фильма не сумели передать поэтический стиль сказки. Сказочная и бытовая сюжетные линии не получили в фильме органического слияния».

Кинокритики считали и считают до сих пор, что иные эпизоды «Анриеша» в масштабе один к одному перенесены из фильмов А. Роу. Особенно те, которые разворачиваются в замке Чёрного Вихря, в эпизоде с великаном, заблудившимся в волшебном лесу, их, наверно, не постыдился бы и сам Артур Артурович. Отмечаются в фильме и оперные традиции. Майя Туровская, к примеру, видела здесь даже какие-то отголоски вагнеровской «Валькирии». Эта театральность особенно заметна в сценах, где персонажи выходят на

авансцену, разворачиваются лицом к залу, но не поют, а как бы декламируют ненаписанную музыку на текст Эмилиана Букова. И всё это происходит, писала М. Туровская, «на фоне откровенно нарисованного театрального задника, перед которым пляшут, не обращая ровно никакого внимания на сказочный сюжет, отглаженные и чисто вымытые молдавские пейзажи в исполнении украинских танцоров».

Критики отмечали в этом первом фильме Параджанова едва ли не все эстетические стереотипы и клише тех лет.

Однако были и несовпадения, явно противоречащие эстетике фильмов А. Роу. Так неожиданно появляется бродячий кукольник Барбакот с кардином на плече. Эпизод, где гайдуки под водительство Войнована, клянясь отомстить Чёрному Вихрю, мечут в звёздное небо свои топоры-буздыганы, критики отметят как единственную и по-настоящему поэтическую сцену. Из жёлудя вечного дуба, брошенного в землю, вырастает отнюдь не новое дерево, а летящий конь.

«Этих несовпадений, "неправильностей" в картине Параджанова и Базеляна столько, что трудно говорить о случайности», – отмечал кинокритик Мирон Черненко.

В первой самостоятельной работе Параджанова кинокритикам трудно было усмотреть его чёткую эстетическую программу. Однако в этой нескрываемой разностильности параджановского первенца они видели какую-то художественную логику, какое-то, быть может, ещё не осознанное желание расколоть канон вдребезги, удостоверить в том, «что там, внутри, – и бросить, обратившись к канону другому, проделать с ним ту же недружественно-любопытствующую операцию, а затем перейти к третьему, четвёртому – и так без конца, сколько позволит метраж, драматургия, сюжет».

И тем не менее «Андриеш» был первым взносом в «копилку»: во-первых, Параджанову позволили снять пару-другую эпизодов, как хотелось, как получалось, а во-вторых, что не так уж маловажно, фильм дал пропуск в профессиональную игровую режиссуру. Это о ней Параджанов скажет однажды: «Режиссура – обманчивая профессия. Она не так самостоятельна, как иной раз кажется, ибо часто тебе приходится воплощать на экране чужую тему, чужие мысли, чужие

образы. И если ты обладаешь хорошей культурой и умением, ты можешь делать вполне добротные вещи. У меня в те годы не было такого умения – были только благие порывы, от которых я не отказываюсь и сегодня. Иногда, очень редко, им случалось пробиться на экран – вопреки всему, но в этом не было ни смысла, ни органичности».

Сегодня, если к «Андриешу» повнимательнее присмотреться, можно обнаружить что-то связующее с фильмами режиссёра последующих лет. Упомянутая параджановская дипломная работа, судя по всему, тоже содержала многое из того, что проявится десятилетие спустя. Но обнаружить тогда в «Андриеше» хотя бы тень каких-то режиссёрских пристрастий, склонностей, способностей, было просто невысказано.

Скорее всего, только с позиции нашего времени, когда были сняты фильмы «Тени забытых предков» и «Цвет граната», в этой волшебной сказке для детей можно разглядеть живописные черты будущего «поэтического» стиля Сергея Параджанова с его склонностью к ярким краскам, эффектным пейзажам и натюрмортам, к фольклорным костюмам, колоритным актёрским типажам, к тщательно продуманным фактурам композиций. А в пятьдесят четвёртом легенда о пастухе Андриеше и злобном колдуне Чёрном Вихре порой выглядит на экране несколько бутафорски. Параджанов ещё не встретился с такими чуткими к мифологическим традициям актёрами, как Иван Миколайчук и Софико Чиаурели.

В 1965 году на Неделе советских фильмов в Италии встретились два фильма: «Морозко» А. Роу и «Тени забытых предков» С. Параджанова. Искусшённая итальянская публика валила валом на оба фильма: она сравнивала устоявшийся в советском кино сказочный стиль А. Роу и нарождающийся «поэтический» стиль С. Параджанова. Победителей не было. Артур Роу пойдёт и дальше своей дорогой и снимет ещё несколько фильмов в том же стиле, что и «Морозко». Сергей Параджанов создал новое направление в кино – поэтический кинематограф: впереди будут незаконченные «Киевские фрески», «Цвет граната», «Легенда о Сурамской крепости», «Арабески на темы Пиромани», «Ашик-Кериб», десятки киносценариев так и не снятых фильмов... И корни этого кино следует искать в его дебютном фильме «Андриеш».



## Ольга АВДЕЕВА-МОКРАК



*Родилась в Кишиневе в семье военнослужащего, жила с родителями в Калининграде, Севастополе, Николаеве, Кронштадте. Окончила «английскую» школу, получила высшее экономическое образование в Кишинёве. В 2007 году заочно окончила Богословский колледж в Москве, является членом совета русских общин Молдовы, членом НППЛ «Родные просторы», сотрудничает с журналом «Невский альманах». Печаталась в кишиневских журналах «Кодры», «Литературный альманах», в петербургской газете «За православие и самодержавие», журнале*

*«София» новгородской Епархии и др. Пишет стихи и сказки для детей. Стихи напечатаны в коллективных сборниках «Встречи», «Гармония», «Синий апельсин», в «Морской газете», «Флот». Сказки – в сборнике «Шире круг» за 2006 и 2011 годы.*

**Сегодня, когда Россия испытывает вновь давление со всех сторон, когда идёт процесс внедрения в русский язык массы иностранных слов, часто выхолащивающий истинный смысл русской речи, придающий ей двусмысленность, особенно важно беречь и ценить русское слово. Надо беречь и помнить об истинно русских поэтах, писателях, журналистах, филологах, ибо они передают нашему и последующему поколению смысл и дух русской культуры, её национальный колорит. Вот что написал К.Г. Паустовский о роли нашего языка: «Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли».**

**Именно таким журналистом и поэтом была Маргарита Яркова (Решетникова), жившая и творившая в моём любимом Питере. В январе 2012 года исполнилось два года, как остановилось её сердце. Я хочу предложить вам статью, посвящённую памяти этого удивительно светлого и талантливого человека.**

## Уходят хранители русского слова...

**О**на писала о других, глядя на этот мир широко распахнутыми глазами, пытаюсь найти то главное, что заложено в человеке, ту путеводную нить, которая помогает ему выбирать свою дорогу. Речь идёт о недавно ушедшей от нас Маргарите Фёдоровне Ярковой (Решетниковой), умном и талантливым журналисте с душой поэта, о поэте с твёрдой гражданской позицией и с бесконечной любовью к России и к своей малой родине – Вятке.

У поэта и прозаика Вл. Скворцова есть пронзительные строки: «Мне в России Руси не хватает...» Думаю, эти чувства испытывала и ушедшая от нас поэтесса, так настойчиво она её искала в людях, о которых писала, в своих зарисовках природы, в строчках своих песен.

Судьба свела меня с Маргаритой Фёдоровной в 2005 году, когда я вместе со знакомой поэтессой пришла в редакцию газеты «За православие и самодержавие», где она работала зам. главного редактора, со статьёй о своём первом паломничестве. Нас встретила не очень молодая, но всё ещё красивая, улыбающаяся женщина. Она сразу расположила к себе открытой улыбкой, лучистым взглядом и удивительной доброжелательностью. Незаметно промелькнул час, за который у нас нашлось немало общих

тем и видение многих вопросов тоже оказалось созвучным.

Дней через пять мне позвонила Маргарита Фёдоровна и предложила напечатать мою статью с небольшими сокращениями в трёх номерах газеты. Конечно, я с радостью согласилась. Так мне открылся новый путь в мир литературного Петербурга.

Маргарита Яркова была удивительным человеком, который искренне, с готовностью искал сам возможность помочь другим, что-то посоветовать, в чём-то предостеречь. Она начала писать и издавать серию книг очерков, статей, эссе о петербургских деятелях литературы и искусства. Но успела выпустить только три книги из этой серии с таким близким русскому сердцу названием «О, слово русское, родное». Тютчевская строка и сегодня звучит остро и актуально, вбирая в себя тревогу поэта за судьбу родного языка, за те испытания и победы, которые он пророчески предвидел. Так же трепетно Маргарита Фёдоровна относилась к русскому языку, к чистоте звучащего и написанного слова. В своей литературной заметке «Магия слова» она отмечала: «Магию спасительного, праздничного Слова я подсознательно чувствовала и ощущала ещё в малолетстве. Начав читать на пятом году жизни

(вместе с тётёй, которая была немногим старше меня), я с радостью овладевала грамотой. "Мама моет раму. Маша пишет пером", – читали мы в два голоса. Чтение поражало, удивляло, восхищало. Буквы, слоги. Слова открывали мир! ...А волшебная магия слова захватывала всё больше».

С особенным почитанием и поклонением она относилась к имени Александра Блока, к магии слова в его стихах. А это строчки, написанные самой поэтессой:

*Если слово умрёт – пусть не сразу, не вдруг.  
Что случится с тобой и со мной, и с любовью?  
И какую великой иль малою кровью  
Рассчитаемся мы за потерянный звук?  
...Если Слово умрёт – одиночества плен  
Будет ржавчиной трогать и душу и тело.  
Безнадёжно давно эта песня летела,  
В никуда прилетела – в рутину и тлен...*

Поэтесса и журналист, Маргарита Фёдоровна бережно и внимательно относилась к слову, написанному другими людьми, умела увидеть, оценить и высветить лучшие строки, лучшие произведения поэтов и писателей. Не случайно она начала создавать серию книг о наших современниках, знакомила читателей, по-новому взглянув на широко известные имена поэтов, таких, как Б. Орлов, Н. Рачков, Иван Стремяков, С. Макаров, Олег Чупров, Вяч. Кузнецов.

Писатель Семён Шуртаков во вступительной статье ко 2-му изданию этой серии писал: «Правильнее будет, наверное, назвать статьи Маргариты Ярковой художественно-публицистическими зарисовками, в которых фрагментарно воссоздаётся как жизненная, так и творческая биография того или другого поэта, отмечаются главные этапы его пути.

Кто-то подумает: так ли уж нужно это, пусть стихи говорят сами за себя. Отвечу: Нужно и очень нужно! ...Государство полностью освободило себя от какой-либо поддержки литераторов, пишущих в традициях гуманистической русской литературы. Их вынуждают искать так называемых спонсоров, что означает, в переводе этого гнусного слова на

русский язык, – ходить с протянутой рукой. ...А между тем русская литература не умерла. Писались и пишутся стихи, рассказы, повести. И чаще всего, если появляется возможность, удаётся издавать коллективные сборники вроде «О, слово русское, родное». Есть такая отдушина, выход к читателю. Большое, доброе, очень нужное и очень важное дело творит Маргарита Яркова».

К сожалению, и Маргарите Фёдоровне тоже приходилось искать спонсоров на издание своих книг, которые выходили тиражом 500, редко 1000 экземпляров. Как горько и до слёз обидно, когда человек, пишущий о других талантливых, неординарных людях, стремящийся донести своё живое эмоциональное впечатление как можно большему числу современников, вынужден был сам с трудом изыскивать финансовые возможности это сделать. Вместо благодарности и гонорара, чтобы достойно жить, журналист и поэт надрывала своё

сердце и душу (неужели так всегда будет в России?) в поисках возможности заработать на хлеб насущный...

И вновь известные и интересные имена нам по-новому открывала Маргарита Яркова во втором выпуске серии очерков. Мы читаем о Глебе Горбовском, Ирэне Сергеевой, писателе Иване Сабило, Марине Марьян, Валентине Царёвой, Алексее Ахматове, Андрее Реброве и др. А в завершении – о певице Тамаре Пятнице.



Маргарита Яркова

*Реченька, душу очисти мою!  
Дай мне прозрачность и свежесть покоя.  
Может я вместе с тобою спю,  
Тело и душу врачаю рекою.*

Маргарита Яркова сумела увидеть и услышать «голос – сильный, свободный, льётся рекой, звучит, из сердца в сердце переливается! Легко и радостно на душе становится, когда слышишь такое пение. Светлым резонансом внутри отзывается. ...Творческий заряд и вдохновенье у этой певицы идут от тех самых родных корней, от её малой родины» – так писала она о Тамаре Пятнице.

И настоящая русская певица отвечала поэтес-

се уважением и любовью, не однажды исполняя в концертах песни на её стихи. Их восторженно принимала публика.

М. Яркова ценила в стихах чёткость и ясность поэтического слова, накал его эмоционального звучания. Так, в статье об известной петербургской поэтессе Ирэне Сергеевой, редакторе поэтического альманаха «День русской поэзии», писала: «... Она обо всём пишет страстно, неравнодушно: о России, о своём любимом городе, о земле и о небе, о матери и о любви... Страстное слово – неперемное условие настоящей поэзии».

Характерно, что и сама поэтесса черпала своё вдохновенье, силу, чистое русское слово от земли и воздуха своей малой родины – милой её сердцу Вятки. С какой теплотой и любовью писала она о любимом городе, об ушедших родных в главе «Родословная» в своём последнем, 5-м поэтическом сборнике «Звёздный август», вышедшем в Петербурге в 2007 году:

*Этот город мой – за тридевять земель.  
В этом городе творил писатель Грин.  
В палисаднике там нежится сирень.  
Лепестки роняет красный георгин.  
...Вятка! Окающий милый городок.  
Нараспашку всё и в доме и в душе.  
Мне ступить бы на родимый на порог,  
Да ни матери, ни дома нет уже...  
Тополя шумят тяжёлой листвою,  
Ветер ластится, мне косы теребя,  
Словно слышу голос радостный:  
– Пстой!  
Ты вернулась! Мы скучали без тебя...*

Маргарита часто вспоминала родной дом:

*Становимся сентиментальными  
И трезвыми в то же время,  
И тянет к отчому дому,  
К забытым рукам матерей.  
Отодвигаем заботы  
и дел бесконечных бремя.  
Плацкартный билет в кармане,  
В дорогу скорей, скорей!  
(«Мне снилось нынче»).*

Она постоянно возвращалась к памяти о своей маме, с ней разговаривала, делилась печалью-ми, мать для неё по-прежнему была жива:

*Ах, мама, мама, жизни осень  
Коснулась и меня крылом.*

*Судьбе однажды вызов бросив,  
Уж не вернусь я в отчий дом.  
Где помню милое крылечко,  
С него и открывался путь.  
Плывут года по Вятке-речке,  
И вспять года не повернуть.  
Ты никуда не уходила...  
С тобой, как прежде, говорю.  
Под соснами твоя могила,  
И крест твой смотрит на зарю...*

В 2005 году вышел третий сборник из серии очерков и статей «О, слово русское, родное». Здесь вновь мы встречаем её взгляд на такие известные имена, как Николай Рубцов, Надежда Полякова, ушедшую к тому времени поэтессу Нину Чудинову, Геннадия Сорокина, самобытного русского поэта Анатолия Белова, эпатажную Зинаиду Битарову и петербургскую радиоведущую Татьяну Фомкину.

И снова – маленькие открытия в каждой статье, неподдельно искреннее желание узнать ближе и разобраться в душевных струнах и истоках творчества героев своих статей и заметок. Профессиональный журналист и поэт в одном лице, М. Яркова улавливала и по достоинству умела оценить настоящий талант и дарование человека. Какой искренний интерес и восхищение поэтическим даром Маргарита испытывала к имени Николая Рубцова: «Говорить о высокой поэзии Николая Рубцова надо ещё и потому, что в перестроечной свалке и буче сместились и сдвинулись многие жизненно важные понятия и ценности: оплёвывается святая любовь к Родине, беззаконие и беспредел называются демократией, грабёж – бизнесом...

Чёрный список явлений нынешней абсурдной действительности можно продолжить и дальше...» Затем М. Яркова приводит известные строки стихотворения Н. Рубцова:

*«Россия, Русь! Храни себя, храни!  
Смотри, опять в твои леса и доли  
Со всех сторон нагрянули они,  
Иных времён татары и монголы.  
Они несут на флагах чёрный крест,  
Они крестами небо закрестили,  
И не леса мне видятся окрест,  
А лес крестов в окрестностях России».*

Дальше она вдохновенно рассуждает, спрашивает себя и читателя: «О чём это? О нашем сегодня? О национальной трагедии? О тех, кто намеренно губит нашу духовность? К счастью,

дух не умирает быстро. И в длинном и тёмном туннеле, как яркий свет, как факел – сердце в руках Данко – стихи Николая Рубцова!»

М. Яркова с болью писала о трагической судьбе поэта, так похожей на судьбы непонятых сразу, гонимых и не оценённых при жизни русских талантах, сравнивая их с судьбой России.

Маргарита Фёдоровна долго беседовала с дочерью поэта, Еленой Николаевной Рубцовой, знакомилась с её дружной семьёй, где было четверо детей, многое переосмысливала, прежде чем написать статью. Она получилась эмоциональной, искренней, открывающей новые грани таланта так рано трагически ушедшего поэта. Тогда ни М. Яркова и никто из окружающих ещё не знали, что вскоре, вслед за своим знаменитым

ники и занимают свои вполне определённые места в ноосферическом пространстве Петербурга. Коротенькие очерки о них могли бы составить в некотором роде мини-словарь поэтов города на Неве от середины минувшего века до наших дней.

И тем не менее это не собрание энциклопедических справок – уж слишком эмоциональна, лирична, вдохновенна тональность этих очерков, каждый из них прежде всего – живая весть о герое, почерпнутая, если не из бесед с ним лично, то из сообщений о нём близких людей».

А. Михайлов отмечал, что сама, будучи тонкой поэтессой, Маргарита Яркова стремилась найти такие черты личности своих героев, которые были бы близки ей и затрагивали бы её лично.

Действительно, для журналиста М. Ярковой не свойственно поверхностное и легковесное отношение к жизни, событиям, сосредоточенность только на личных переживаниях. Она имела свою гражданскую позицию, она искала не только созвучие своим чувствам, но место поэта и писателя в современном мире, в нашем сегодняшнем дне. Для неё очень важным было наличие живой совести у поэта, его отношение к прошлому и настоящему, к истории своей Родины.

Маргарита Фёдоровна с горечью констатировала падение интереса к настоящей поэзии, засилье массовой культуры, падение нравственности, смешение понятий добра и зла, белого и чёрного, когда всё превращается в нечто серое. Поэтесса глубоко переживала всё происходящее сегодня в России, поэтому её сердце не могло оставаться равнодушным к погибающим от наркотиков подросткам, к множеству нищих и бомжей, доживающих свой век в нечеловеческих условиях, к песням слепцов на Сенной площади и, конечно, к трагедии погибших подводников «Курска» и огромному горю их близких, жён и матерей:

*Ах, как мать тоскует в ночи:*

*«Не молчи, сынок, не молчи...»*

*Глухо рыдает в подушку:*

*«Как душно тебе там, как душно...»*

*В снах коротких гладит и гладит*

*Волос непослушные пряди.*

Всё, абсолютно всё М. Яркова пропускала через своё сердце, которое никогда не оставалось равнодушным. И если сердце у поэта и журна-



*Маргарита Яркова с супругом*

дедом трагически уйдёт из жизни его юный внук, тоже Николай Рубцов. Именно ему выпало продолжить родословную линию рода Рубцовых по мужской линии, но снова – трагедия! Мы до сих пор не знаем, кто стоит за ней, кто убил юного Колю Рубцова.

Целый ряд своих стихов Маргарита Яркова посвящает русскому поэту Н. Рубцову. Вот строчки одного из них, напечатанного в её последнем сборнике «Августовские звёзды»:

*... Взбежал на холм, и холм Олимпом стал:*

*Внизу деревня, шёлковое поле.*

*И высечен природой пьедестал,*

*На нём Поэт – как соловей на воле.*

*«Взбегу на холм»*

Н. Рубцов.

Во вступлении к третьему сборнику цикла «О, слово русское, родное» доктор философских наук, ведущий сотрудник Пушкинского Дома Александр Михайлов пишет: «Герои очередной книжки Маргариты Ярковой – наши современ-

листа живое, отзывчивое, оно всегда изранено,  
оно болит.

*А сердце устало, устало, устало...  
Обиды оно на себя намотало,  
Ошибки, ушибы, любви испытанья,  
Проблемы, потери, исканья, желанья.  
...Всё цело: и руки, и ноги, и плечи.  
Пока миновала беда – не калечит.  
Так что горевать, мол, судьба нас достала?  
Да я не горюю. Но сердце устало...*

С Маргаритой хорошо было поговорить, поделиться своими переживаниями. В ней, чьё детство пало на военное лихолетье, жива была детская искренность и восторженность. Она могла с упоением рассказывать о цветах на своей дачке, о подругах, которых она искренне любила, о людях, с которыми её сдружила жизнь. Она щедро дарила свою любовь, знания и опыт, словно спешила жить. Искренне восторгалась талантом других людей, потому что сама была щедро одарена им от Бога. Особую радость и гордость приносили ей внуки, сыновья дочери Яны, художницы, тоже неординарного человека. Никита и Ярослав вдохнули в поэтессу новую творческую волну, и она пишет стихи, посвящённые внукам, и выпускает в 2003 г. детскую книжку «Не уйду из детства».

Поэзия – это часть жизни, вернее, её смысл и спасение, без неё творческий человек, Маргарита Фёдоровна, не мыслила жизни:

*Поэзия, ты вся – моё спасенье.  
В тебя я ухожу, как в синь утра.  
И снова, снова, преклонив колени,  
Остановлюсь у твоего костра.*

Поэтесса много писала о любви, её лирические строки рождали новые романсы и песни. Она сотрудничала с такими композиторами, как Людмила Лядова, Виолетта Гриневич и др. Один из самых последних и необыкновенно красивых романсов на её стихи «Георгины» написан композитором Натальей Руссу-Козулиной. Впервые он был исполнен в зале «Театра Эстрады» в мае 2008 года, и радостно, что сама автор стихов присутствовала на премьере.

Нежность и любовь, наполнявшие её душу, несмотря на житейские трудности, перетекали в её стихи и рождались строки для своего любимого:

*Я смотрю тебе вслед.  
Зарождается тихая нежность.  
Как рисунок графический,  
Твой силуэт под дождём.  
Длинный шарф на ходу  
Ты забросишь на спину небрежно  
И уходишь... Ну что ж,  
Поживём, поглядим, подождём...*

Светлая память Маргарите Фёдоровне Ярковой (Решетниковой). Хочется закончить эти заметки о дорогом мне человеке строчками из её стихотворения:

*Мой поезд летит в бесконечность,  
И скорость – ну только держись!  
Конечная станция – Вечность.  
Маршрут – это длинная Жизнь.  
...Свет радости, жизни и солнца –  
Скажу я: всё сбудется так!  
Мой поезд несётся, несётся...  
Но только уже не во мрак.*

28 февраля 2010 г., Кишинев.



Зоя АФТЕНИЙ

**Блокада**

**Д**ень 22 июня 1941 года начался обычно, ничем не угрожая. Утро было тёплое, приветливое, солнечное. Накануне, 21 июня, я слушала в Малом оперном театре «Кармен» – пригласил меня сосед дядя Петя. Жена его – Шура – уехала с маленьким ребёнком гостить к родителям в деревню Псковской области – к «скобарям», как называли жителей этой области. Уехала на два месяца, а застряла на четыре года! Молодых офицеров «образовывали» необходимостью посещения театров, и дядя Петя пригласил меня.

От оперы я была в восторге! Всю жизнь любила и люблю оперное искусство. Сосед вёл себя галантным кавалером – в антракте угостил пирожными и лимонадом! Вечер оставил приятное впечатление.

Ранним утром 22 июня я была на (Варшавском?), не помню, каком вокзале. Мы, выпускники одного класса, поехали в Шувалово вручать нашему любимому классному руководителю Юхану Юрьевичу Гималайнену (финну) подарок – карманные серебряные часы, правда, без цепочки – не хватило денег, но с дарственной выгравированной надписью. Жил он очень стеснённо, в частном доме. Посидели у него на веранде, побеседовали, вручили подарок, поблагодарили за терпение и труд, за заботу о нас. Он как будто чувствовал или понимал напряжённость того времени, пожалел нас, сказав, что школу мы окончили в «плохой» год. Спрашивал, кто куда хочет поступать. Мальчишки дружно рявкнули: «В армию!» Меня он любил и отличал, сказал твёрдо: «Зоя, Зойка, Зоище! Твоё место в мединституте. Будешь медиком и никем больше!» Я возразила, что поступлю на литературный факультет в университет. Он шутливо закричал: «Иди в медицину, убью». Советовал, кому и куда идти учиться. Тепло попрощались. Домой ехали в полупустом вагоне, смеялись, пели, планировали летний отдых и дальнейшие встречи. Когда, приехав, вышли из вагона, увидели большую толпу людей возле радиорупора.

Тяжело и страшно падали слова Молотова: «Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Войска её перешли границу и вторглись на нашу территорию!» Мы были потрясены: «Как, когда, почему?! У нас же мир с Германией! Что теперь будет?» Разлетелись по домам растерянные, ошеломленные, расстроенные. По улицам города уже шли строем военные и гражданские добровольцы. Больше мы никогда не встречались.

Дома меня ждали гвалт и расстроенные лица родных. Мой двенадцатилетний сводный брат Виля

*Дневники нашей мамы и бабушки*

(от Владимир Ильич Ленин) носился по квартире с боевым кличем! Он пойдёт в конницу Будённого и будет, как Чапаев, мчаться на коне!!! Тётя Анетта плакала и кляла Гитлера, Сталина, не знаю кого больше. Сталина она яростно ругала за всё: что погубил свою армию, выбил комсостав, уничтожил тысячи (тогда мы думали, что тысячи) людей: троцкистов, зиновьевцев, левых, правых «врагов народа», разорил деревню. Он сам первый и главный враг своего народа. Я её слушала и думала: «Это в ней говорит обида за дядю Юкку. Она понимает, что его больше никогда не увидит». Юкку – это по-эстонски. По-русски – Иван Александрович Саарт. До 1937 года – комендант города Кронштадта, следовательно военной прокуратуры, с 23 февраля 1937 года – участник троцкистского (или не помню какого) заговора. Так и вышло. Всех политических заключённых «Севлагеря», где он отбывал 5 лет, зимой 1942 года расстреляли, не успев эвакуировать.

Мама моя – Линда Юрьевна – тоже была расстроена, и из-за горя тёти Анетты, и оттого, что «батя» (мой отчим Кучин Алексей Ильич) уже не сможет летом вернуться с Таймыра. Застрянет там вместе с экспедицией на Хатанге от Главсевморпути.

Наша бабушка (эстонка Елизавета Яновна) слушала нас, слушала да и воскликнула: «Rahvas (люди, эст.)! А ну-ка бегом все в магазин. Берите деньги, авоськи, надо запастись продуктами!» Она была права. Едва мы успели взять по килограмму сахара, хлеба, крупы, макарон, соли и спичек, как всё исчезло с прилавков и витрин! И назавтра мы получили хлебные и продуктовые карточки. Война сразу вступила в законную силу и заявила о своих правах. В первый же день было приказано затемнить окна, заклеить стекла полосками бумаги крест-накрест, чтоб не лопались во время бомбёжки. Окна мы затемнили. Милиционеры бросали камни и даже стреляли в плохо затемненные окна. Началась шпиономания. То здесь, то там останавливали и проверяли подозрительных людей. С первых же дней установили дежурство на чердаках. Там были расставлены ёмкости с водой и ящики с песком, щипцы для тушения зажигательных бомб. Ну а против фугасных – только: «Господи, пронеси!»

Я весь июль была не у дел – ни школьница, ни студентка, так как документы в вузы принимали с 1 августа. Меня включили в список «домохозяек» и взяли в оборот. Заставили рыть траншею перед домом. С тех пор прошло 70 лет, а я так и не поняла, зачем нам нужна была эта траншея?! Для какой стратегии?! Неужели наши власти ждали танки со стороны залива? Наш дом стоял у Фин-

ского залива. А позже мы воочию убедились, что ни окопы, ни траншеи, ни противотанковые рвы, которые мы копали, будучи студентами, не остановили немцев. Остановлены они были крепкой силой, тысячами и тысячами погибших солдат, но у самых ворот Ленинграда.

Войну мы встретили в семье из шести человек. Мама, бабушка, тётя Анетта, её дочь, моя двоюродная сестра Неля, мой сводный брат Виля и я. После ареста дяди Юкку в 1937 году его семью выслали из Кронштадта на Урал, в Бузулук. С ними поехала и наша бабушка. В 1939-40 годах стали кое-кого выпускать, и моя мама выхлопотала сестру с матерью из ссылки.

Лето 41-го было жарким как никогда. Почти до середины августа купались в Финском заливе; нарабатываемся, накапливаемся и идём купаться. Но вот 15 августа я получила повестку из деканата Педагогического института им. Герцена, куда поступила на литературное отделение, срочно явиться, но не на занятия, а на окопы. Указано было взять с собой ложку, миску, кружку, полотенце, мыло и т.д. Повезли нас в Колпино рыть окопы и ставить «надолбы» против танков. Кормили американской чечевицей и кокосовым маслом. Ночевали мы в спортивном зале одной из школ. Да, надо сказать, что студенты чувствовали себя на окопах героями. Именно мы, девочки, которых было подавляющее большинство. Запомнился мне один парень – студент Лео. Он раньше всех прятался в канаву и позже всех из неё вылезал. Мы смеялись: «Давно отбой воздушной тревоги, наконец-то наш Лео храбро вылезает из канавы». Он сердился и возражал: «И впредь так буду делать! Ваша храбрость никому не нужна». Помню, когда во время первой тревоги посыпались зажигательные бомбы, моей мыслью было: «Вот это да! Как в кино!» Когда мы копали, орудуя ломом и лопатами, над нами неоднократно пролетали немецкие самолеты, нас они не бомбили, их целью был Ленинград. Нам командовали: «Воздух!», и мы ложились на землю. В этот момент я подкладывала под себя левую руку, чтоб, не дай Бог, её не оторвало. Ведь на ней были мои первые часики, подаренные родными к окончанию школы с отличием.

В начале сентября пришел приказ – отступить. Двинулись и мы вместе с нашей отступающей армией. Это было ужасно! Солдаты шли молча, опустив головы, ни с кем не разговаривали, в глаза никому не смотрели. Мы шли, а нас обгоняли низко летящие бомбардировщики. Они летели спокойно, уверенно, равнодушно неся разрушение и смерть. Мы были, по их «просвещённому» мнению, недочеловеки.

Далеко впереди мы видели огонь, дым, разрывы, обрушивающиеся дома, но всё равно шли

вперед, домой, ведь больше возвращаться нам было некуда. Тяжело было привыкнуть к бомбардировкам, артобстрелам, но основным нашим убийцей стал страшный голод.

Так началась блокада города! Да, наша власть, умея карать, крепко «держат и не пущать» (по Чехову), не умела прогнозировать события. В июле 41-го вышел приказ: «Всех детей от 6 до 14 лет вывезти из города в тыл». Родители сшили им рюкзаки, снабженные всем необходимым. Их собрали и вывезли. Куда? Навстречу немцам. Поняв свою ошибку, срочно телеграфировали SOS: «Скорее спасайте своих детей!» Родители, в том числе и моя мама, помчались, где поездом, где по шпалам пешком, собирать детей. Наши Неля и Виля, разминувшись с мамой, пришли сами, голодные и загорелые. Мы все: я, мама, бабушка, тётя Анетта, были и рады и не рады их возвращению. Ведь впереди ничего хорошего не предвиделось. Если до 9 сентября зенитные батареи не пропускали в город ни одного «воздушного бандита», то после начались варварские бомбардировки города, видно, немцы увеличили свои воздушные силы. Артиллерийские обстрелы стали продолжительней и яростней. Нам везло. Немецкая артиллерия дальше Среднего проспекта не била, а мы жили много дальше, у самого залива. С моря же нас защищал Кронштадт, который немцы взять не могли. Конечно, если б Кронштадт был взят, то от Васильевского острова не осталось бы и следа.

По вечерам, в час заката при ясной погоде, город был хорошо виден – это было чудо! Из слегка колеблющейся воды Финского залива возникал прекрасный город с несколькими шпилями башен и позолоченным, сверкающим в лучах заходящего солнца куполом Морского собора. Любуясь им, я вспоминала стихи Николая Гумилёва:

*«В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой  
Проплывает Петроград  
И горит на алом диске  
Ангел Твой на обелиске  
Словно солнца ясный взгляд.  
Я не трушу, я спокоен,  
Я – поэт, солдат и воин,  
Не поддамся палачу!  
Пусть клеймят клеймом позорным,  
Знаю – сгустком крови чёрным  
За свободу заплачу!  
За стихи и за отвагу,  
За сонеты и за шпагу.  
Знаю – город строгий мой  
В час вечерний, в час заката  
Каравеллою крылатой  
Отвезёт меня домой».*

Так «проплывал» перед глазами Кронштадт, сияя шпилем водонапорной башни, и казался таинственным, причудливым замком. Но это было редко. Чаще Финский залив был как бы повит серым туманом.

А блокада железно сжимала город, и чем дальше, тем меньше становились нормы продуктов и хлеба. Если в июле и августе в городе работали коммерческие магазины и нормы хлеба были вполне приемлемые, то с октября рабочая карточка составляла 250 г, а служащая, иждивенческая и детская – 125 г в день. Коммерческие магазины закрыли, торговля стала «менювая», или «чёрного рынка». С середины октября нашим самым злейшим врагом стал голод. Блага цивилизации сразу исчезли: не включилось отопление, не стало электричества, прекратилось водоснабжение, перестала действовать канализация. Зима в этом страшном году пришла рано – в середине ноября снег уже лежал плотно и не таял. Одним из мучений этого времени были походы за водой. Ходили на залив, там, к счастью, вода была пресной. Ходили втроём: я, Неля и Виля. Брали с собой санки, ведро и бельевой бак с крышками. Проходили всегда мимо могилы декабристов. У самой кромки воды – скромный памятник с пятью именами: Рылеев, Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Когда-то погибшие, повешенные герои своего страшного времени. Подъезжали мы к самой проруби – ковшом наполняли ёмкости. Я, как старшая, впрягалась, везла, а Виля с Нелей следили, чтоб ёмкости не сползали, и по мере сил подталкивали сани. В подъезде нас ждала мама с бидоном. Разливали воду и поднимали на пятый этаж, к себе. Так же поднимали дрова, угля у нас не было. Дрова мы заготовили, распилили, накололи ещё с осени. Опасность представляли ступени второго и третьего этажей. Здесь жили обессиленные люди. Они выливали ведра с помоями и нечистотами прямо на лестницу. Всё это вмерзало в ступени, и приходилось идти очень осторожно, чтобы не упасть. Выше 4-го этажа никто не жил, кто умер, кто успел эвакуироваться, и ступени были не запчканы.

Печку мы растапливали лучинами и книгами дяди Юкку. У него была большая библиотека трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Топили поначалу трудами Сталина, остальных жалели. На конфорку ставили огромный медный чайник на 3, 5 литра с большой прямой боковой ручкой. Я такого больше нигде не видела. Его вывезла ещё в молодости наша бабушка Елизавета из Эстонии. Пили ячменный или желудевый кофе из бабушкиных запасов, без сахара. Пили пол-литровыми кружками, потом сидели, пыхтя и задыхаясь. За-

тем начинались походы – за водой на залив, за дровами в сарай. Хлеб обычно выкупали с утра, пораньше. Нам полагалось по 125 г, т.е. 750 г на шестерых. Дома хлеб честно делили на весах. Съедали его не сразу. Резали на кусочки, слегка солили и сушили сухарики. Каждый свой, на плите – никогда не брали друг у друга и не путали.

Надо сказать, что нам невероятно повезло! В нашем подъезде на втором этаже жила простая русская женщина тётя Даша с мужем дядей Карлушей, потомком «петровских» немцев. Они в сарае держали корову. За нашим домом у залива был лужок, и тётя Даша там её пасла. Летом продавала молоко. Но к сентябрю, чем голоднее и злобнее делались люди, понятней становилось, что корову могут увести. Тётя Даша корову зарезала, мясо за деньги не продавала. Тогда мама и бабушка поменяли дедушкины старинные часы, тяжелые, из червонного золота, на 10 кг мяса и его же новые валенки ещё на 2 кг. Итак, 12 кг мяса – огромное богатство. Мама, бабушка, тётя Анетта это мясо порезали на кусочки по 300 г, и мы в течение 40 дней ели мясной суп.

Подаренные мне новые швейцарские ручные часики, которыми я так гордилась, поменяли на 2 кг хлеба и 2 кг гречневой крупы. Это в сентябре. В январе и половины бы не дали. Каждое утро в нашей трехлитровой кастрюле варилось 300 г мяса и небольшой стакан гречки. Затем мясо и гречку пропускали через мясорубку, смесь делили на шесть мисок, доливали бульоном и пировали. Больше ничего не полагалось. У других и этого не было. Очень раздражала нас тётя Анетта; она начинала перечислять всякую еду, особенно почему-то картошку с селедкой: «Ерингид я кардулит – иллюс мекк» (селёдка с картошкой – прекрасный вкус)! Переболев на окопах кишечной инфекцией, она раньше всех ослабела, слегла и немного «тронулась».

У меня силы ещё были. Я ходила в институт два-три, а то и четыре раза в неделю. Даже сдала зимнюю сессию: немецкий, латынь, древнегреческий эпос и русский фольклор. По последнему умудрилась получить тройку, хоть и серьезно готовилась. В институт шла обычно по «косой» линии, пересекала Малый, Средний, Большой проспекты, выходила на набережную, спускалась на Неву, переходила её – и на Мойку, в мой педагогический. Однажды, переходя Неву, я сильно упала на спину, больно ударилась затылком об лёд. Мне помог подняться один мужчина, худой, задыхающийся, сам едва стоящий на ногах. Да, по Неве нужно было идти осторожно – она вся пестрела прорубями, которые быстро схватывались льдом. Мороз стоял 35-40-градусный. А воду людям надо было где-то брать. Кое-как дойдёшь до

института, в аудитории не больше 30 студентов, и это со всего курса. Что делать? Голод валил с ног и студентов, и профессоров. Однажды наш преподаватель по русскому фольклору упал в голодный обморок прямо возле кафедры. Помогли подняться, напоили тёплой водой, и он поплёлся домой.

Как-то нас заставили выносить трупы умерших иногородних студентов, живших в бомбоубежище. Бедные ребята! Лучше бы они пошли в отряды самообороны, может, не умерли бы такой страшной смертью. Трупы эти были ужасны – скелет, обтянутый какой-то серой кожей, в заношенной, местами прожжённой одежде. Годы прошли с тех пор, а мне и сегодня больно их вспоминать. Смерть повсюду косила своей страшной косой голода. Она стояла за спиной, напоминая: «Я здесь, близко». Трупы стали частью блокадного пейзажа.

Утром идёшь, видишь – стоит, опираясь на стену, исхудавший дистрофик, а когда возвращаешься – он уже лежит мёртвый и обязательно без валенок. Это было какое-то подлое мародёрство – стаскивать с мёртвых валенки. Сначала умирали больные, ослабленные люди, затем мужчины, потом дети, позже женщины. Они держались дольше всех, наверное, потому, что на них лежали заботы и боль за детей, за воющего мужа, больного брата, упорное желание их спасти! А как хоронили... Трупы были на улице, в снегу, в парадных подъездах и в вымерзших квартирах. Смерть наступала везде: и дома, и по дороге в магазин или на работу. Иногда умирающий человек просто выходил из дому в надежде на чью-то помощь... Умерших плотно заворачивали в одеяло, простыню или покрывало, кто во что мог. Иногда обвязывали лентами, вкладывали бумажные цветы. Везли на санках, чаще сдвоенных, на Смоленское, Митрофановское, Серафимовское или Волковское кладбища. Умерших нашего и соседних домов «хоронили» в выкопанных нами в июле траншеях (хоть для этого они пригодились). После войны их перезахоронили на Волковском кладбище, которое стало мемориальным. Его посещают все ленинградцы (и выжившие, и вновь прибывшие), а также туристы. У кого не было сил хоронить или нечем заплатить за копку могилы, оставляли своих умерших у ворот кладбища, с вложенными записками с паспортными данными. А позже, в апреле-мае 1942 года, откуда-то появились довольно крепкие девчата. Они заходили в пустующие квартиры и обнаруженных там покойников выносили на носилках, а иногда просто грубо волокли за ноги, головой о ступени. Было и такое! Встречались и случаи людоедства. На Смоленском кладбище жила женщина-

людоедка. Она заманивала четырёх-пятилетних детей, убивала их, расчленяла и ела. Когда её судили, сказала: «Это такое нежное мясо, как у цыпленка. Я всегда буду есть только такое». Её расстреляли, несмотря на то, что она была признана невменяемой! Много позже, когда я работала врачом в районной больнице в Единцах, там был дворник – мужчина лет 50. От него все шарахались. Кухарки не пускали его на кухню, совали в руки порцию еды и выгоняли. Он был странный, слегка косоглазый, разговаривал сам с собой. Оказывается, во время голода 1946-47 годов в Молдавии он вырезал и съел печень у своей умершей от голода жены. Отсидел 5 лет по статье «людоедство и трупоедство».

Но как бы мы – ленинградцы – ни ругали власть, Сталина, Молотова и почему-то Калинина, никогда, ни у кого и мысли не было, что можно сдать город. Умирали голодные, истощённые в своих обледенелых квартирах, но не поколебавшиеся и не сдавшиеся. В отношении к страшным, непонятым репрессиям ругали каких-то «врагов народа». Каждый считал: мой отец, брат, муж, дядя не виноваты, а «настоящие» враги их оговорили. Поздно поняли, что настоящим врагом был тоталитарный сталинский режим.

Зима в том страшном году наступила рано, была снежной и очень морозной. Это и помогло ленинградцам. Немецкая авиация не могла вылетать в такие морозы: замерзало топливо. Нам же на «острове декабристов» на краю города, на берегу Финского залива, везло. Нас защищал Кронштадт. Были и курьёзы. Однажды недалеко от нас упала фугасная бомба. Дом наш слегка приподнялся и снова опустился, в большой нежилой комнате раздался грохот. Мы замерли! Всё! Разбомбили! Вбежали в комнату, а там... рухнул на пол портрет Ворошилова. Дядя Юкку – будучи отличным стрелком – в своё время был награждён довольно внушительным портретом Ворошилова в тяжёлой раме. Да только дорогой Климент Ефремович и палец о палец не ударил, чтоб защитить своих стрелков. Бедный дядя Юкку, бедная, совершенно безвинно погибшая его семья.

Голод, жестокий, разрушающий личность, лишал людей доброты, человечности, воли. Если б в ту зиму мне кто-нибудь сказал, что я доживу до восьмидесяти с лишним лет, что у меня будет семья, любимый, муж, дети и внуки – я бы этому ни за что не поверила. Голод вносил ссоры и распри в семьи. И в нашей, такой дружной прежде семье не всё было благополучно. Бедная тётя Анетта, со сдвинутой горем и голодом психикой, ругала себя, что вернулась к нам из Бузулука, из ссылки, куда была выслана с дочерью, моей двоюродной сестрой Нелей, как жена «врага наро-

да». Мама из-за этого чувствовала себя неловко.

Неля не могла терпеть муки голода и, когда её посылали за хлебом, съедала довесок, а если его не было, просила взвесить ей отдельно 100 г хлеба и по дороге домой его съедала. Чтобы мы не могли проверить, поломала наши весы. Сейчас об этом тяжело писать, тогда же это была трагедия, которую нельзя вспоминать без боли. Умерла она после войны в 20 лет, тяжело и мучительно.

В нашем доме одна девочка лет шестнадцати зарубила топором родную тётю из-за хлебной карточки. Один отец семейства в голодном помешательстве съел выкупленный на день вперёд хлеб семьи и к утру умер. В наш магазин с вечера забрались двое мальчишек 10-11 лет, утром их без труда обнаружили. Мальчишки были домашние, в пальтишках, шапках-ушанках, завязанные шарфиками. На что они надеялись? Как мне их было жаль, когда они покорно шли за милиционером. Как-то я после занятий в институте выкупала хлеб в центре города, и один дистрофик каким-то странным приспособлением из проволоки, похожим на большой крюк, подхватил буханку хлеба, а убежать не смог. Его не арестовали и даже не побили, просто продавщица забрала хлеб и дала ему лёгкого пинка.

Дом наш был от табачной фабрики им. Урицкого, в нём жили в основном работники этой фабрики. Иногда маме перепадала пачка папирос, и она меняла её на кусок хлеба у солдат зенитной батареи, расположенной рядом.

Измученные голодом, издёрганные бытовыми неурядицами, мы, естественно, ругали власть, но понимали, что под Ленинградом стоит наша армия, которая не сдаст немцам любимый город. Это помогало жить, терпеть и надеяться на победу.

Как-то давно, в Крондштадте, Виля выбросил сдобную булочку с балкона из нежелания её съесть или из озорства. Так мы часто ему это напоминали: «Ну как, Виля, выбросил бы ты сейчас булочку или хоть кусочек хлеба?» Он серьёзно отвечал, что бежал бы за ней из последних сил. До чего же это было мучительно и безнадежно! Я была твёрдо уверена, что не доживу до конца войны, и с этой мыслью примирилась: «Ничего против этого не попишешь – умрём – такова наша судьба, но город будет стоять вечно!» Люди вокруг умирали, не имея сил дождаться конца блокады. С голода ели всё, что попадалось. Моя приятельница по дому, Тора, съела целую чашку сухой горчицы и умерла. Люди пробовали варить кожу, ремни, обои. Травились, но голод был сильнее рассудка. Мы тоже ели горчицу, но предварительно её долго вымачивали в воде, по-

том добавляли крахмал, и получались вкусные лепёшки! У тётки Анетты, как у художницы, была олифа. Мы её выжаривали с солью и макали в неё хлеб. Голод выматывал душу, от него никак нельзя было отделаться. Как ни хотелось думать о чём-то другом: книгах, учёбе, стихах, все мысли возвращались к хлебу. Это чувство нельзя передать, это нужно только испытать, почувствовать. И не просто голод перед обедом, а постоянный, высасывающий желудок, занимающий все мысли, лишающий воли... Кроме голода очень мучил холод. Топили мы печурку, но только пока кипятили чай или варили свой скудный обед. Да и как она могла согреть комнату в 16 кв.м. с трехметровым потолком?! У нас была хорошая двухкомнатная квартира: 16- и 22-метровые комнаты. Они были отдельные, у каждой своя дверь в коридор, и смежные – между ними тоже была дверь. Осень и зиму мы прожили в одной комнате – поменьше. В ней сложили печку с плитой и трубой, выходящей наружу. Печь топили дровами и библиотекой дяди Юкку. По утрам «дежурный» чистил печку, выгребал золу в ведро с нечистотами и выносил во двор за сарай. Ведро чистили снегом, набирали дрова и уже вдвоём поднимали на пятый этаж. Комната наша была как остров среди холодных, почти заледеневших квартир. Спали все в одной комнате. Я, мама, Неля, бабушка спали на двух сдвоенных кроватях валетом два на два. Виля, боясь бомбёжки, спал в стенном шкафу, а тётка Анетта – на односпальной, прислоненной к стене кровати. Вечером ложились полураздетые, а к утру натягивали на себя пальто и валенки. Дни тянулись медленно, монотонно стучал метроном между всякими сообщениями. Только раздастся: «от Советского информбюро» – мы уже начеку: вдруг немца погнало или норму хлеба увеличили. Но, увы! Пока говорили об оставленных городах и о боях «местного значения». Передавали оперную музыку из новых опер «Тихий Дон», «Поднятая целина», «В бурю». Я запомнила навсегда: «Подожди ещё недельку,/Подожди ещё недельку,/Подожди ещё недельку – выйдет полная луна». Это ассоциировалось с полуголодным бредом: «подождём ещё и ещё, потерпим!»

У нас были старинные напольные часы. Мне всегда казалось, что они идут слишком медленно! Возникло дикое желание схватить часовую стрелку и крутить вперёд, чтоб скорее прошёл вечер, ночь, и утром бежать за хлебом. О снах лучше было не думать. Во сне ешь, ешь, а просыпаешься голодная. Однажды маме с кожзавода дали одну шкурку. Мы с ней долго провозились, выдернули шерсть, обожгли, почистили, вымыли, порезали и сварили холодец! И всё-таки хорошо, что мы были вместе. Заботились друг о друге, о

бабушке, больной тётё. Занятия в школе были перенесены на лето, и Виля с Нелей сидели дома. Я же по мере сил ходила в институт. Не раз попала в объявленную тревогу или артобстрел. Тогда милиция загоняла нас, прохожих, в убежища или подъезды. После очередного отбоя спустилась на Неву, на лёд, а там, на снегу пятна и подмерзающие лужицы крови. Люди в белых халатах загружают в санитарные машины убитых и раненых. С мыслями: «а ведь это могла быть я», двинулась дальше. Помню, когда я собиралась в институт, мама и тётя Анетта меня поучали: ни в коем случае не присаживаться по дороге отдохнуть, идти равномерным шагом до места назначения. Присядешь – замёрзнешь. Мороз-то был до 35-40 градусов. По вечерам при свете «мангалки» ещё читали. Я и мама вели дневники, каждая свой. Но вскоре вышел строгий указ – дневников не вести, у кого найдут – будет наказан! Пришлось уничтожить.

В блокадную зиму я прочла Шолохова «Тихий Дон». Этот роман меня потряс! Не надеясь выжить, я переживала, что не прочту новых прекрасных книг о войне и не увижу хороших послевоенных фильмов. В эту военную зиму сам Ленинград был исключительно красив: «Его оград узор чугунный...» был покрыт чистым белым снегом и красив, как причудливое кружево. По дороге в институт любовалась этой красотой и с удовольствием думала: «А немцы здесь ходить и на эту красоту смотреть не будут никогда!» Снег также скрывал страшные руины, груды кирпича и обломков изуродованной мебели, что раньше составляло жизнь и быт людей. Верили, что город, как тяжело раненный боец, восстанет, восстановится! Очень ждали слов Ольги Берггольц: она нас очень поддерживала своими поэмами о Ленинграде. Особенно «Письмо маме на далёкую Каму». В нём отражены все наши трудности, невыразимый ужас блокадной жизни. «Нет, письмо не пойдёт на далёкую Каму, но... пойдёт телеграмма: "живы, выстоим до конца"».

И так день за днём, неделя за неделей проходила зима.

Помню, бабушка вспоминала эстонскую сказку о волшебном горшочке «uks! kaks! kolm! Ruttu! Potikene! Keta putru» («раз, два, три, горшочек – вари кашу!») Бабушка вздыхала: «Мои губы уже не попробуют каши». Мы все думали так же. От тоски и безнадежности начинала плакать и приговаривать тётя Анетта. Страшно исхудавшая, осунувшаяся, сидя на постели, она ругала Сталина и Ворошилова, погубивших цвет армии и страны, допустивших немцев до Москвы и Ленинграда. Бабушка на неё кричала, умоляя замолчать, мало ли что?! Но на нашем пятом этаже мы были одни... Моя дорогая мама – Линда – стержень на-

шей семьи, особенный человек! Вот кому в эту страшную зиму, да и после неё, досталось больше всех! Как любили её дети второго мужа. Мой сводный младший брат, Виля, называл её мамой. Она заботилась и о старших детях (потом о внуках) моего отчима, хоть они были не намного старше её. Со всеми нами ей приходилось возиться – то один, то другой сорвётся в истерику. Она умела нас и разговорить, и даже устыдить. Вспоминала голод 1921 года, когда в Кронштадте за одну неделю умерли от «голодной холеры» её отец и младший 14-летний брат Юрий. Вспоминала, как было голодно, а они, молодые, встречались в клубе, веселились. Вспоминала и рассказывала нам страшную, не «газетную» правду о Кронштадском мятеже. Совершенно искренне сочувствовала женщинам, потерявшим мужей и, особенно, детей. Помню, умерла девушка моего возраста, не от истощения, а от пневмонии. Так моя мама вместе с матерью умершей плакала, обнимала и утешала её. Она была комендантом нашего большого десятиподъездного дома. Вместе с бухгалтером выдавала хлебные и продуктовые карточки домохозяйкам, детям школьного и дошкольного возраста, и ни одна крошка хлеба «не пристала» к её рукам. Вела списки умерших, вместе с участковым милиционером разбирали всякие неприятные инциденты, мирили людей, если ссора не заходила слишком далеко.

К весне стало немного легче, норму хлеба увеличили, появились вода в водопроводе, электричество. Но за зиму люди израсходовали запас сил, и в феврале-марте резко увеличилось число похорон. Целыми рядами ехали сани с покойными. На слуху были имена генералов Мерецкова и Федюнинского. Чем могли мы, голодные, холодные, обессиленные, помочь нашим солдатам? Только огромной верой в них, в то, что не отдадут наш любимый город. По радио передавали страшные вести о зверствах немцев на захваченных территориях, о начинающемся партизанском движении.

До войны в Ленинграде оглушительным успехом пользовался оперный певец Печковский. Пел он драматическим тенором, коронным его номером была партия Германа в опере «Пиковая дама». Меломаны, особенно дамы, были от него в восторге, многие фанатки преследовали его, засыпали цветами. В начале войны он застрял в глубинке – не то на гастролях, не то в отпуске или гостях. Попал в оккупацию. Немцы, по-видимому, знали о нём, предложили работу – сольные концерты для солдат и офицеров. Он согласился. Его выкрали партизаны и повесили. В прессе об этом ничего не было написано, но имя его больше нигде не упоминалось.

Как-то к нам зашёл приятель отчима – они вместе служили на флоте – Лев Яковлевич Вихнович. Он был флотским военным инженером. Жил на корабле. Свою семью ещё в начале войны отправил в эвакуацию. Не голодал, даже помогал своему брату, оставшемуся в городе караулить квартиру. Он сказал нам: «Что вы сбились в кучу, как клопы в щели! Так нельзя! Нужно разъезжаться, следить за эвакуационными пунктами и по одному-двое из семьи уезжать. Мы ещё не знаем, что принесёт весна. Конечно, немец будет разбит, но когда? Мой вам совет: разъезжайтесь при первой же возможности». Он своим мужским практичным умом военного инженера оценил и нашу, и блокадную ситуации. И такая возможность появилась. В начале марта, придя в институт, я увидела большое объявление: «Ленинградский пединститут им. Герцена эвакуируется 19 марта».

Всем студентам заблаговременно зарегистрироваться. Первокурсники имеют право взять только одного родственника. Эвакуация будет осуществляться на грузовых машинах по льду Ладожского озера».

Что делать? Кого из своих брать? Хотелось бы поехать с мамой и Вилей, но оставить в городе больную тётю с четырнадцатилетней дочерью и старенькую бабушку – значит, заведомо обречь их на смерть. Без нашей мамы они бы не выжили. На семейном совете решили, что со мной поедет бабушка. На мою просьбу взять ещё кого-то из родных (Вилю) в деканате наотрез отказали. Эвакуация через Ладогу на машинах опасна. В партии не должно быть лишних людей, так как эшелоны идут переполненные. Накануне отъезда почти не спали, всю ночь плакали. Собрались, попрощались с тётёй Анеттой. Мама, Виля, Неля пошли нас проводить. Вещи положили на сани. Я должна была зайти в институт за документами, за номером эшелона. На боку у меня была противогазная сумка – это стало в обычае Ленинграда, ходить с такой сумкой через плечо. Сам противогаз давно был вынут, уже никто не верил в возможность газовых атак. Помню, меня остановил милиционер, спросил, что в сумке, так как люди, находящиеся «у хлеба», носили его в таких сумках на перепродажу или обмен. Проверил мои эвакуационные документы, отдал честь и отошёл. На вокзале меня уже ждали мои домашние. Нам с бабушкой дали по тарелке макарон с сарделькой, разделили на пятерых.

Подали дачный поезд до Тихвина. Стали прощаться. Бабушка всю дорогу плакала и причитала: «Линдочка, моя бедная Линдочка!» А мне вдруг остро, до боли стало жаль Вилю. Мы были сводные брат и сестра, воспитывали нас одинаково, в любви и уважении, никого не выделяя.

Он был глазастый, «лупастенький», губошлёп с маленьким носиком. Такой славный «лягушонок». Ему было семь лет, когда наши овдовевшие родители в 1937 году поженились, к нам он был искренне привязан. Я только о нём думала: «Бедный маленький дистрофик, я тебя больше никогда не увижу». Так и вышло. Он умер у мамы на руках. Хоть весной и летом стало легче, увеличили нормы хлеба, даже давали по детской карточке шоколад, а в школе – кашу и стакан молока, но подорванный голодом организм не выдержал «синдрома роста». Умер после ужина – «заснул» с шоколадкой в руках, которой хотел насладиться после сна. Ему было всего 13 лет. Нелю я ещё увидела в 1946 году в Ленинграде, а Вилю и тётю Анетту – уже никогда!

Мама, отдав последнее, похоронила его на Смоленском кладбище, там лежат Неля, умершая сразу после войны от скоротечного туберкулёза, и бабушка, дожившая до 80 лет. Отправив в эвакуацию сестру и племянницу, похоронив сына Вилю, получив известие, что мы с бабушкой «без вести пропали», она с надорванным сердцем, чуть живая, доехала через всю страну до Таймыра, Хатанги, где был мой «батья». Тётя Анетта умерла в эвакуации. До конца жизни мама несла горечь этих смертей. На Хатанге, соединившись с мужем, мама долго выздоравливала после перенесённого. Как в романе Дж. Лондона «Любовь к жизни», она никак не могла понять, как можно уйти из столовой, когда на столе остались кусочки хлеба. У каждого члена экспедиции были отдельные комнаты, а ели все в общей столовой, повар готовил на всех. Люди поняли её «болезнь». Повар экспедиции испёк ей большой каравай белого хлеба, а участники отдали свои недельные нормы сливочного масла. Всё это богатство принесли ей. Она каждый час съедала по куску хлеба с маслом, пока не наелась. Это оставалось её любимой едой всю жизнь. В еде она была всегда очень экономна и воздержана.

В эвакуацию мы ехали долго. Сначала дачным поездом до Тихвина. Затем на грузовиках через Ладогу. Это был самый опасный участок пути, «дорога жизни». Обстрелы, да и лёд в середине марта не везде надёжен. В апреле уже вывозили буксирами. В машине меня посадили в кабину. Водитель, молодой парень, всю дорогу разговаривал. Обо всём расспрашивал. Мне, после прощания с родными, не хотелось ни о чём говорить. Потом я узнала, что они не спали по несколько суток. Нужно было срочно вывозить людей, пока не растаял лёд. Вот он и говорил, чтобы не заснуть за рулём. Переехали через Ладогу. Там нас ждали «теплушки», товарные вагоны. Ехали мы в них 42 дня. Наш поезд иногда по трое суток

стоял на запасных путях, пропуская военные и медицинские эшелоны. Выехали из Ленинграда 19 марта, а 30 апреля прибыли на станцию «Минутка» в Кисловодске.

Девятое мая 2011 года. День Победы! С утра по ТВ – внушительный парад на Красной площади. Звонки, поздравления. И меня поздравляют, и я поздравляю. С удовольствием слушаю, что хоть в России с каждым годом всё больше внимания уделяют ветеранам войны, блокадникам, жителям когда-то оккупированных краёв, бывшим партизанам, их детям. Да, время идёт. Вымирает попидавшее смерть поколение. Мне почти 88 лет. Господи! Хоть бы сердце сегодня не болело и ещё немножко здоровья. Жаловаться не могу. Обо мне заботятся дети и опекают внуки. У меня и у моей кошки всё есть. Мне удалось три раза «обмануть» смерть. Я не умерла от голода в блокадном Ленинграде, не вошла в «миллион убиенных», хотя была от этого очень близка. Однажды, чуть живая, я брела домой из института, встречая по пути то сани с покойником, то припорошенный снегом труп, и мне казалось, что это всё происходит не со мной, что всё это я вижу со стороны, что каждый мой шаг последний, дошла домой на пределе человеческих сил. Из-за неосторожно сказанного слова меня чуть не застрелил в оккупации на Кавказе полицейский бандеровец осенью 1942 года, уже передёрнул затвор и навёл на меня карабин. (Северный Кавказ, куда мы были эвакуированы в марте 1942 года, осенью, на полгода был оккупирован немцами). Женщины-казачки, с которыми я была, обступили его и умолили не стрелять. Меня не вывезли «на тот свет» немцы в феврале 1943 года (мы, ленинградцы, были в списках на уничтожение). У немцев всё было строго по плану: сначала «жиды и коммунисты», потом партизаны, потом мы и почему-то ростовчане. Хозяйка квар-

тиры, где мы жили с бабушкой, договорилась с дальними родственниками, чтобы они меня спрятали. Кавказ к тому времени уже освобождали советские войска, и немцам стало не до нас.

Я живу, прислушиваясь к сбоям в организме, то одно, то другое. Уже давно на меня смерть поглядывает искоса. Из всех наших я осталась одна – и те, кто был старше – умерли, и те, кто был младше меня, Неля и Виля, – ушли. Почему я его не взяла с собой? Надо было ухитриться, хоть тайком взять. Время было суровое, а мы слишком послушные.

По вечерам в воскресные дни, после посещения моих дорогих внучек, на моём столе лежат сладости, фрукты, разные гостинцы, и я делю их на шесть частей, на всех нас, переживших эту страшную зиму. Мне думается: вдруг бы они все, мои родные, мои дорогие пять человек – пришли бы ко мне сюда. Как бы я их всех по очереди испекла, постирала, разобрала их вещи, одела бы в своё, накормила. Уложила в большой комнате. И все бы мы были живы, и у бедного Вили было бы будущее, и с Нелей не случилось бы ничего плохого, а тётя Анетта не умерла бы такой молодой в 39 лет. Умница, с двумя высшими образованиями (педагогическим и художественным). Художница, дизайнер, необыкновенно вышивала, владела всеми секретами этого мастерства, вынуждена была в ссылке в Бузулуке мыть пол в лаборатории завода.

Да и эту работу не легко было найти, хотя там не хватало преподавателей со средним образованием....Умерла от запущенного аппендицита. На жен врагов народа не очень-то обращали внимание.

Я сейчас живу воспоминаниями, не помню, что со мной было 5 минут назад. Но отлично помню это тяжелое военное и послевоенное время.

Вот какие мысли приходят в мою старую голову...



## Алла СТУПИНА

**Страницы истории**

Солнце ещё не встало,  
Рождался июньский день.  
Мята благоухала  
После обильных дождей.

Ветви в садах прогнулись  
Под тяжестью спелых плодов.  
Хлебами поля всколыхнулись,  
Раскрылись бутоны цветов.

В роще запели птицы,  
Чтобы встречать новый день,  
Где ничего не случится,  
Горя не ляжет тень.

Но в тишине рассвета  
Грома раскат прозвучал,  
И превратилось лето  
В дым и огненный шквал.

По боевой тревоге  
Подняты города,  
Страшной войны дороги  
Вмиг расчертила беда.

Те, кто остался жив,  
Сколько вам лет сейчас?  
Славу вы заслужили,  
Знают и помнят вас.

Мир не имел представленья,  
Сколько продлится война,  
Сколько тревог и лишений  
Людям несёт она.

Жизней возьмёт миллионы,  
Реки крови прольёт,  
Сквозь колокольные звоны  
Эхом печали пройдёт.

Семьдесят лет пролетело,  
Но не найдётся семьи,  
Где бы война не успела  
Шрамы оставить свои.

Мужество и отвага  
В мирное время нужны,  
Чтобы, приняв присягу,  
Не допустить войны.

Чтобы любили мальчишки  
В солнечных городах,  
А кинофильмы и книжки  
Не вызывали страх.  
В мирные игры включайтесь,

Нам не нужна война.  
В трудностях закаляйтесь,  
Сила всегда нужна.

Радости и невзгоды  
Жизни армейской познать  
Сможете и сегодня,  
Только не нужно стрелять!

**Поклон ветеранам**

Вы жизнь прошли, старая и печалься.  
Уже давно закончилась война,  
И многие с друзьями попрощались,  
Остались лишь в награду ордена.

Двадцатилетние, но всё ещё мальчишки,  
Вы столько на плечах своих снесли,  
До этого читавшие лишь книжки,  
Что о войне рассказывать могли.

Недолюбив, на фронт ушли ребята,  
Преодолев лишенья и беду.  
Надели на себя шинель солдата  
Герои, закалённые в аду.

На полуслове песня не прервётся,  
С годами вы становитесь мудрей.  
Былая сила снова к вам вернётся,  
И блеск в глазах засветится живой.

Давайте не прощаться раньше срока,  
Пусть за плечами восемьдесят лет.  
Порою жизнь бывает так жестока,  
Что на вопросы не найдёшь ответ.

Весна цветы сирени разбросает,  
Тюльпаны облагрят Мемориал.  
Кто о Победе лишь по фильмам знает,  
Исполнит свой священный ритуал.

Заслуженные пожилые люди  
Расскажут нашим внукам о войне.  
Для всех мир добрым, справедливым будет  
И радость принесёт тебе и мне.

Фронтовиков, участников сражений  
От всей души мы будем поздравлять.  
Вас обещает смена поколений  
Не только в День Победы вспоминать!

## Владимир УЛАНОВ



Продолжение. Начало в №9-12(2011) – 1-4(2012).

**Бунт**

Исторический роман в двух книгах

**Книга II**

О своих возможностях  
человек узнает по свершениям.  
Ч. Дарвин

**Часть II****Волга – река казацкая**

**В** один из дней мая 1670 года Степан Разин вновь вышел на Волгу, но уже не в поход за море. Путь его лежал к Царицыну.

Струги казаки спустили на воду выше Царицына. Стоял солнечный день. Небо было безоблачное, яркое солнце ласково отогревало истосковавшуюся по теплу землю. От его лучей она парила, и воздух

над ней дрожал. В прибрежных кустах голосисто перекликались птицы. Река была полноводна, и еще мутная вода залила низинки, подтопила низкие берега.

Струги, которые разинцы приволокли на лошадях с Дона, легко покачивались у берега. После длительного и изнурительного похода казаки притомились. Они расположились на берегу Волги отдохнуть. И поэтому Степан не торопил свое войско к Царицыну.

Дружинкин – коренастый широкоплечий человек, со смуглым подвижным лицом, с постоянной ухмылкой в бороду, балагур и шутник, был послан царицынцами к Разину и встретил казаков еще на середине их пути. С тех пор и стал он проводником разинского войска.

Степан с посланцем из Царицына сидели на большом камне и обсуждали дальнейший путь.

– Немного отдохнут казаки – и поплывем дальше, – сказал Разин.

Дружинкин стал убеждать атамана:

– Надобно, Степан Тимофеевич, поспешить!

– Зачем спешить, если людишки нас ждут. Когда придем под стены города, они и откроют ворота.

– А если нет? – засомневался Дружинкин.

Разин пристально посмотрел на своего жога, улыбнулся, затем спросил:

– Что же ты, Степан, засомневался в людях, которые тебя ко мне послали?

– В людях нет, да вот новый воевода Тургенев может за помощью послать в Астрахань. И город трудней будет взять, если подойдет подмога.

Атаман на некоторое время задумался, потом произнес:

– Сегодня извечки донесли, что царицынцы уже накрепко закрыли ворота. В город и из города никого не пускают. Знать, подмоги пока у воеводы нет. Он, видно, еще за ней только послал и приготовился отсиживаться за стенами.

Тут к атаману, почти на полном скаку, на резвом коне примчался Фрол Минаев и крикнул:

– Тимофеевич! Василий Ус с войском к нам идет!

Степан вскочил, радостно заулыбался, воскликнул:

– Молодец, Ус! Вовремя подоспел! – и бегом поспешил за Фролом навстречу прибывшим казакам.

Разин и подоспевшие ближние есаулы вышли на дорогу и увидели множество конных и пеших людей, идущих к Волге. Впереди на гнедом жеребце гарцевал Василий Ус. Он лихо соскочил с коня, бросив поводья, пошел к Степану. Атаманы встретились, крепко обнялись, крест-накрест поцеловались. Усовцы и разинцы быстро смешались со знакомыми станичниками. Когда радость первой встречи прошла, Разин обратился к Усу:

– Вовремя ты, Василий, пришел! А мы только что собирались идти на Царицын.

– Штурмом, что ли, брать будем? – поинтересовался Ус.

– Зачем мне казаков на смерть посылать?! Город и так наш будет. Надо только подождать.

– Здесь ждать? – вмешался в разговор Дружинкин.

– Сейчас же поплывем к Царицыну, – распорядился Степан. – Ты, Василий, поведешь всех конных сухим путем по берегу, а я с остальными ребятами поплыву к Царицыну на стругах и лодках.

– Добре, – ответил Ус и сразу же приступил к делу. Крикнул конных сотников, и уже через некоторое время несколько сотен казаков были готовы к походу.

Перед отплытием Степан подошел к Усу, с улыбкой посмотрел на нового есаула и похвалил:

– Однако ты, Василий, молодец, в делах проворен!

Ус молча улыбнулся, затем спросил:

– Будем выступать, Тимофеевич?

– Выступай, Василий, да с нами постоянно снопись, не теряйся. И если вперед придешь к городу, на штурм не лезь. Обкладывай со всех сторон Царицын и жди нас.

– Добре, – согласился Ус и хлестнул своего жеребца, который пошел крупной рысью впереди казацкой конницы.

\* \* \*

К Царицыну разинцы подплыли на рассвете. Солнце еще не взошло, но на востоке небо уже але-ло. Погода стояла тихая, и вода в Волге была почти зеркальная, только там, где водовороты, было заметно движение.

Громадные стены Царицына стояли безмолвны и неприступны. Город еще спал. Даже на крепостных стенах никого не было видно. Огромные центральные ворота города были крепко-накрепко закрыты.

– Вот это да! – воскликнул Леско Черкашин, задрав голову и глядя на высокие стены.

– Пожалуй, штурмом нам город не взять, – упавшим голосом молвил Фрол Минаев.

– Зачем нам штурмом? Люди Царицына сами откроют ворота. А сейчас, казаки, обкладывайте со всех сторон город, и чтобы ни один человек без нашего ведома не вошел и не вышел.

К атаману не спеша подошел Василий Ус. Он гораздо раньше его пришел на место и положение в Царицыне знал уже хорошо. Рядом с Василием шло несколько незнакомых атаману человек. Цепкий взгляд Разина сразу же определил, что это народ из Царицына.

– Степан Тимофеевич, вот люди из города прибежали, с тобой говорить желают.

Атаман подошел вплотную к царицынцам:

– Готов ли простой народ помочь мне войти в город?

– Готовы, батюшка! – воскликнул один из пришедших – высокий рыжеватый мужик.

– Почему же тогда ворота у вас заперты? – насмешливо спросил атаман.

– Это воевода Тургенев распорядился закрыть их и никого не подпускать. Людей на его стороне мало. Почти все население города биться с тобой не желает, ждет тебя – не дожидется. Этой ночью решили мы напасть на тургеневских стрельцов и ворота вам открыть.

– Тогда, ребята, возвращайтесь обратно и мутите шибче народ, а мы будем ждать.

– Уже собираемся, – ответил все тот же рыжеватый царицынец.

Не успел Степан распрощаться с городскими людьми, как прискакал дозорный и сообщил:

– Батько, недалеко, вниз по течению Волги встали нагайские татары и едисинцы.

Услышав такую новость, Разин вдруг загорелся боевым пылом: ему захотелось сводить своих ка-заков на татар.

– Старые враги! Еще на Яике нас тревожили и опять встали на нашем пути. Видно, астраханский воевода опять их уговорил против нас пойти. Надобно бы им всыпать – да так, чтобы отпала у них охота к нам лезть.

– Василий! – крикнул Разин Уса, который уже отошел от атамана и о чем-то оживленно разгова-ривал с царицынцами.

Ус быстро подошел к Разину, спросил:

– Что, Степан Тимофеевич?

– Оставляю на тебя войско, Василий, сам пойду с казаками, встречу со старыми знакомыми.

– Куда же ты, атаман, собрался? – с удивлением спросил Ус. – Надо ведь город брать, ворота вот-вот откроют.

– Мы, Василий, быстро управимся, – уверенно сказал Разин. – Отгоним табуны коней, скотину, прихватим ясыря и добра всякого.

– А если татар много и малым числом не одолеете их? – с беспокойством спросил Ус.

Усмехнувшись в бороду, Разин ничего не ответил Василию и потребовал к себе Минаева. Тот вскоре явился.

– Сажай своих ребят в лодки и плыви по Волге. Как только наша конница вступит в бой с едисин-цами, в самый разгар схватки нападешь на них сзади.

– Это можно! – обрадованно согласился Фрол, радуясь предстоящему походу, но спросил: – А город как же?

– А куда он теперь от нас денется?! Все равно теперь он наш, – уверенно ответил атаман.

Когда Разин увел казаков в поход, Василий Ус снова объехал на своем резвом жеребце вокруг

Царицына. Внимательно осмотрел слабые места стен, но таковых было мало, они были починены, рвы прочищены. Василий подумал: «Вся надежда у нас на взбунтовавшийся народ, иначе едва ли мы возьмем город». Ус проверил дозоры, велел казакам внимательно следить за рекой и дорогами к городу, а сам подъехал к крутому берегу Волги, стал вглядываться в водную ширь великой реки.

Солнце уже садилось. Его теплые лучи еще грели и золотистым светом играли по волнам, иногда отливая серебром в мелкой ряби воды. Бесконечная водная лента с темно-зелеными островами, бесчисленными заводьями и плесами раскинулась до самого горизонта и уходила куда-то далеко-далеко.

Ус, казалось, ничего не замечал и был занят своими мыслями: «Степан Разин встретил хорошо, обласкал. Сразу же доверил всем войском командовать». Василий привык быть первым и не терпел, чтобы им кто-то командовал. Когда шел к Разину, в душе у него постоянно шла борьба. Он понимал, что им нужно объединиться, но в то же время знал, что первенства ему Разин не уступит. Когда же атаман стал отдавать ему приказы, неожиданно для себя подчинился то ли его авторитету, то ли какой-то внутренней силе этого человека. Где-то там, в глубине души у Василия все еще шла борьба, и ему не хотелось становиться есаулом, но он был покорен Разиным. Правда, надолго ли, Ус не ведал. Он знал, что им будет трудно, но про себя подумал: «А Разин все-таки казак сильный, не чета другим. Могуч телом и властен над людьми, умеет с народом обходиться!»

\* \* \*

Воевода Тургенев был человек сухощавый, седовласый, с тонкими капризными губами и карими бегающими глазами. Он обладал вспыльчивым характером, любил, чтобы ему все беспрекословно подчинялись и чтобы его воля была законом для людей ниже его по положению. Сменив Унковского, Тургенев рьяно взялся за наведение порядка в Царицыне. Было немало разжаловано и смещено стрелецких начальников, бито кнутом и батогами простых стрельцов и рабочих людей. Поэтому в канун прихода Разина воеводой были многие недовольны – как начальство, так и простые люди. А некоторые, особенно голые и обездоленные, жаждали схватить его и отдать разинцам. Недовольство царицынцев стало сильно заметно, когда казаки пришли под стены города. Верные люди донесли боярину, что многие ждут Разина и готовы открыть ворота, воевода забеспокоился не на шутку, но все-таки не хотел верить в это. Он стал призывать стрельцов послужить государю, неожиданно со стороны служилых встретил глухое молчание, не увидел решительности на их лицах. Они безучастно смотрели на воеводу, а в глазах некоторых стрельцов полыхали недобрые огоньки. Тут-то и понял Тургенев, что трудно ему будет устоять с этим народом против воровских людей. Не теряя времени, тайными путями послал воевода несколько гонцов на север и в Астрахань с грамотами, в которых слезно молил о помощи. Велел Тургенев строго-настрого верным своим людям неусыпно охранять ворота и без его ведома никому их не открывать. Сам же, уже не веря никому, перебрался в одну из неприступных башен крепости и заперся там со своими ближними людьми и племянником Борисом, еще молодым круглолицым, с ясными, как у девушки, голубыми глазами и пушистой бородкой, совсем не опытным в ратном деле юношей.

Когда над городом опустилась ночь, Тургеневу не спалось, он долго ходил взад и вперед по переходу между башнями, размышляя о безысходном своем положении. В голове крутилась одна и та же мысль: «Бежать! Бежать из Царицына и побыстрее! Но куда убежишь, если стены обложили плотным кольцом разинцы? Одна надежда – на помощь из Астрахани. Когда придет подмога, тогда я посчитаюсь с этими проклятыми царицынскими людишками!» – мстительно думал он. Снизу из города донесся сильный шум. Обеспокоенный воевода выглянул в узкое окно. Шум доносился от городских ворот. Внизу, в темноте мелькали зажженные факелы и неясные силуэты людей.

– Василий! Где ты? – позвал воевода дворецкого.

Из темноты выступил высокий мужчина, облаченный в латы и кольчугу.

– Узнай, что там, – умоляюще попросил воевода.

– Уже узнали! – сердито ответил дворецкий.

– Так что же там?

– Черные люди взбунтовались, захватили ворота, и казаки входят в город.

– Как же это так?! – воскликнул воевода, глядя на Василия, обезумевшими глазами.

– Теперь нам, батюшка, осталось только ждать подмоги, а если не придут, все погибнем! – в смятении произнес дворецкий.

У Тургенева от страха отвисла челюсть, задрожали руки, нервная дрожь заколотила воеводу, к

сердцу подбиралась смертельная тоска.

## 2

После стремительного и удачного набега на нагайских татар отяжелевшие от добычи казаки вернулись к Царицыну. Внимательно вглядываясь в то место, где раньше располагался лагерь, Степан Разин с удивлением обнаружил, что там никого нет. Атаман даже остановил своего коня, еще пристальнее, из-под руки, стал смотреть, но лагеря действительно не было.

– Фрол, погляди – казацкого лагеря нет! – с удивлением воскликнул Разин.

Привстав на стременах, Фрол даже потер глаза и не менее удивленно произнес:

– И правда, батько, нет! И ворота в город открыты.

– Верно! – обрадованно воскликнул Степан.

– Знать, народ царицынский впустил наших в город, – радостно сказал Фрол Минаев.

Со своими казаками Разин заспешил в Царицын. В город атаман входил победителем. Народ кричал:

– Слава атаману!

– Слава нашему радетелю!

Люди тянули руки к Разину, стараясь дотронуться до его одежды.

Степан приободрился, глаза его горели радостными огоньками. С лица не сходила улыбка. Он приосанился, царственно восседая на своем белом жеребце. Белозубая улыбка, темные, почти до плеч кудри, черная с проседью борода – все это делало атамана по-мужски красивым. От ладной, крепко сколоченной фигуры веяло неукротимой силой. Видя, как ликует народ, он думал: «Что может быть лучше этого! Пусть людишки радуются! Пусть ликуют! Ведь они заслужили свободу, неустанно трудясь в поте лица на своих толстобрюхих хозяев и не получая почти ничего за свою работу. Какие счастливые лица у этих нищих и убогих людей».

\* \* \*

Ефросинья Русакова в этот день тоже радовалась победе разинцев. Нарядно одетая, вышла на улицу, чтобы посмотреть, как казаки входят в город. С тех пор как она последний раз видела Разина, когда он уходил из Царицына на Дон, Ефросинья все чаще думала об атамане. Вспоминала его приятный, низкий голос, черные искристые глаза, уверенную силу, которая так и исходила от атамана. Эта сила покорила ее, и ей, слабой женщине, хотелось быть рядом с этим человеком.

Ефросинья вышла на площадь, где собралось множество народа.

Вдруг кто-то крикнул:

– Едут!

– Степан Тимофеевич едет с казаками!

Толпа зашевелилась, задвигалась. Многие люди стремились прорваться вперед, чтобы лучше рассмотреть атамана с казаками.

Вскоре показались разинцы. Первым на белом жеребце ехал атаман. За ним – остальное войско. По левую руку от Разина на гнедом скакуне гарцевал Якушка Гаврилов в лихо заломленной бараньей шапке с красным верхом. Он озорно поглядывал на толпу людей, отыскивая лукавыми глазами красивых молодых женщин. По правую руку на вороном жеребце рысью ехал Иван Черноярец, чернявый казак с серьезным задумчивым лицом.

Ефросинья во все глаза смотрела на атамана, как бы стараясь запомнить каждую черточку в его лице, прочитать в глазах его думы. Женщина ничего не замечала вокруг себя, а только глядела на Степана. Разин, видимо, почувствовал этот взгляд, повернулся в сторону Русаковой, ожег ее своими искристыми глазами, как бы заглядывая в самую душу. Степан узнал ее и приветливо улыбнулся, затем помахал ей рукой, подзывая к себе. Ефросинья стояла как вкопанная. Атаман направил коня прямо к ней. Народ расступился, Разин подъехал к женщине, лукаво подмигнув ей, сказал:

– Жди, хозяйка, в гости, сегодня приду.

Русакова не знала, что ответить Разину. Она молчала, только щеки зарделись.

Атаман ждал, что скажет Ефросинья.

Наконец она догадалась, что нужно пригласить его к себе, и тихо произнесла:

– Приходи, батюшка, ждать буду.

Разин вздыбил коня – люди расступились, а атаман крупной рысью стал догонять казаков.

Ефросинья Русакова стояла и не знала, радоваться ей или нет, но в душе у нее все ликовало:

«Надо же, сам атаман Степан Разин пожалует к ней в гости!»

– Это за что тебе, Ефросинья, такая честь? – широко улыбаясь, сказала полногрудая, дородная соседка Прасковья, затем посоветовала:

– Ты, Ефросиньюшка, не упускай свое счастье, атаман-то вон какой видный казак, – и звонко рассмеялась.

Подъезжая к приказной палате, Разин увидел на высоком красном крыльце Василия Уса, нескольких царицынцев и Степана Дружинкина, который держал в руках на белом вышитом полотенце хлеб-соль.

Степан молодцевато соскочил с коня, легко ступая, взшел на крыльцо. Дружинкин поклонился в пояс атаману и вручил ему хлеб-соль со словами:

– Долго мы, Степан Тимофеевич, ожидали, когда ты придешь в наш город и дашь нам волю! И ты это исполнил! Так прими же от нас хлеб да соль и будь как у себя дома, и не забывай, что мы, царицынцы, пойдем за тобой в огонь и воду, не жалея живота своего!

Степан принял хлеб и соль, поклонился народу на три стороны, крикнул в огромную толпу горожан и казаков:

– Я кланяюсь вам, люди Царицына, за то, что вы не побоялись своих воевод и стрелецких начальников, открыли нам ворота города, что пошли вы не с продажными воеводами да боярами, а с нами, истинными слугами великого государя нашего. За все это я вас не обижу, будет вам воля и богатый дуван! Будете жить по казацкому обычаю!

Огромная толпа взорвалась криками:

– Любо! Любо говорит атаман!

– Слава Степану Тимофеевичу!

В небо взлетело множество шапок. Люди ликовали, опьяненные свободой и своей силой, радовались, как дети, счастливо улыбались, целовались друг с другом.

Василий Ус пригласил Разина в приказную палату, где были накрыты столы, заставленные разными закусками и винами. Степан со своими есаулами сел за стол, и начался пир. Пили казаки за удачу в походе, за царицынский народ, что помог им войти в город, за атамана Степана Тимофеевича.

Василий Ус сидел рядом с Разиным и рассказывал подробности того, как они вошли в город. Атаман внимательно слушал есаула, потом вдруг перебил его:

– А где же Тургенев?

– Воевода со своим племянником и стрелецким начальством заперся в башне и сидит там. Наверно, подмоги ждут, – ответил Ус.

– Так что же вы мне об этом сразу не сказали?! Надо взять эту башню боем! – воскликнул Разин, рванул саблю из ножен, выскочил из приказной палаты, побежал к башне, где укрылся воевода со своими приближенными. Казаки и царицынцы последовали за атаманом. Многие обогнали Разина, первыми подбежали к двери башни, но служилые открыли стрельбу из пищалей, и вот уже рядом с атаманом упало несколько человек, сраженных пулями. Но вскоре казаки высадили дверь, ворвались в башню, вытащили оттуда воеводу и стрелецкое начальство.

Царицынцы схватили Тургенева, поволокли его к Разину. Атаман какое-то время пристально рассматривал воеводу, затем спросил:

– Что же ты, пес паршивый, бедных людишек обижал?

Тургенев перебил атамана и стал злобно грозить:

– Погодите, придут скоро стрелецкие полки из Астрахани и Москвы, всех вас, воров, на дыбу повесят! Бросьте воровать, пока не поздно!

Сквозь толпу к атаману протиснулся ярыга, упал перед Разиным на колени, стал просить, показывая на народ:

– Дозволь нам, батюшка, Степан Тимофеевич, самим расправиться с воеводой! По его приказу моего сына батогами до смерти забили!

– А меня по миру пустил! Лавку мою с товарами забрал! – кричал из толпы купец.

– Моих сыновей в тюрьме держит, – со слезами в голосе сказал седой старик.

– Дозволь, батюшка, нам над ним суд учинить! – кричали горожане.

Некоторое время Степан молчал, обдумывая, какое же принять решение, затем сказал:

– Берите воеводу, он ваш, но его племянника не трогайте, я заберу его к себе – будет у меня в войске служить.

Толпа царицынцев зашумела, забурлила, мигом подхватила Тургенева, и он исчез в людском во-

двороте.

Степан посмотрел вслед горожанам, которые потащили бывшего воеводу на берег Волги, и подумал: «Вот и пришла расправа для Тургенева. Мало городом правил, а врагов нажил много. Пусть потешится бедный люд! Пусть почувствует свою силу, когда все вместе, когда все заодно! Трудно сплотить русских людей, направить их на большое дело. Терпелив русский человек, прощает многие обиды своим помещикам да всяким начальникам, но уж как кончится его терпение, тогда горе обидчикам простого народа, трудно усмирить разгулявшийся люд, снова заставить его подчиниться. Вот и сейчас кончилось терпение царицынцев, выплеснулось наружу все наболевшее за годы унижения и непосильного труда, несдобровать теперь воеводам, боярам да стрельцким начальникам».

Хотел Разин вернуться в приказную палату, как к нему подошел седовласый старик и попросил:

– Освободи, батюшка, сидельцев из острога, там сыновья мои томятся! – старец всхлипнул, замигал поблекшими глазами, смахнул сухой рукой набежавшую слезу.

– Иван! – крикнул Черноярца Разин.

Из палаты не спеша вышел первый есаул, уже раскрасневшийся от вина:

– Что кличешь, Степан Тимофеевич?

– Вот старик говорит, что сидельцы еще не освобождены.

Почесав затылок, Иван задумчиво проговорил:

– Да вот про сидельцев-то мы позабыли, – и, посмотрев на старика, успокоил его. – Ты, дед, не горюй, это дело поправимо!

– Леско! – позвал Черноярца лихого казака.

Есаул сразу же подошел к Ивану, спросил:

– Что, Иван, стряслось у тебя, зачем кличешь?

– Возьми с полсотни казаков да освобождайте из острога сидельцев. Старик вам дорогу укажет.

Черкашин вскочил на коня и помчался к своей сотне, чтобы освободить узников.

С взятием Царицына на атамана сразу же свалилось множество дел. К нему шли люди с жалобами на хозяев, просили помочь во всяких житейских делах, рассудить споры. Кроме всего этого нужно было направить жизнь города в нужное русло. Назначить атамана и помощников, да таких, чтобы за простых людей твердо стояли.

Был у Степана на примете такой человек – Прокофий Иванов. Удалился в одну из палат Разин с ним и долго с глазу на глаз говорил. Учил Степан Прокофия, как царицынскими людьми править, не давать спуску богачам.

Прокофий Иванов, коренастый казак, с темными волнистыми волосами, с карими веселыми глазами и смуглым лицом, был подвижен, в хозяйственных и ратных делах сметлив.

– Быть тебе, Прокофий, атаманом в Царицыне, так что подбирай себе есаулов, – сказал Разин.

– Если народ кликнет на кругу, то буду, – ответил густым басом Иванов.

– Кликнет, – уверенно ответил атаман. – Я скажу, все кликнут, так что готовься.

– А если не кликнут? – засомневался Прокофий.

– Казак ты добрый, народ тебя уважает, так что не беспокойся!

Тут в приказную палату быстро вошел Фрол Минаев и сообщил новость:

– Степан Тимофеевич, сейчас на Волге казаки перехватили лодки торговых людей, а те говорят, что сверху плывет на помощь воеводе Тургеневу тысяча стрельцов с головой Иваном Лопатиным и полуголовой Федором Якшиным.

Степан улыбнулся, затем сказал:

– Наконец-то пожаловали, давненько я их поджидаю. Надо бы достойно встретить гостей.

### 3

С площади Ефросинья заспешила домой. Надо было приготовиться к встрече дорогого гостя. Зайдя в дом, она сперва заметалась, не зная, за что взяться, потом присела в углу на сундук, задумалась: «Надобно, перво-наперво, прибрать в горнице и других комнатах, накрыть стол, да так, чтобы атаману понравилось», – и окунулась в домашнюю работу. За делом время летело быстро. Она не заметила, как подошел вечер. Очнувшись, когда последние лучи солнца заиграли на куполах церкви, а над городом разгоралась алая заря. Вот она уже заняла полнеба, озаряя розовым светом облака. Ефросиньюшку охватило смутное беспокойство: уже наступил вечер, а Разина все нет.

«Неужели не придет? И все приготовленное ею к встрече напрасно. Не может он не прийти! Он

ведь обещал!» – думала женщина, мечась от окна к окну и вглядываясь в даль улицы, откуда должен был появиться атаман. Но она была пустынна, только изредка мелькало платье женщины или ковылял проходящий нищий. Устав от ожидания, Ефросинья присела на скамейку, задумалась: «Кто он ей? Почему она так волнуется? И чего ее сердце так трепещет в ожидании Разина? Ведь не любимый, не муж, а только едва знакомый человек. И вот такое! Сердце заходится при воспоминании о Степане. Околдовал он ее, что ли?» И женщина набожно перекрестилась на образа. Да, такой околдует, вон какой у него взгляд: будто смотрит в самую душу и все про тебя знает. Ефросинья еще раз перекрестилась, тихо прошептала: «Господи, освободи меня от наваждения, если можешь!»

Во дворе отчаянно залаяла собака. Женщина встrepенулась, соскочила с лавки, кинулась во двор. В ворота кто-то сильно стучал. Она выдернула засов, распахнула их, и перед ней предстали два всадника. На белом сильном жеребце сидел Разин, а на вороном, привстав на стремянах и вглядываясь в Ефросинью, сидел молодой казак.

– Здравствуй, хозяйюшка! – ласково произнес атаман, улыбаясь белозубой улыбкой.

– Милости просим, батюшка! – робко сказала Русакова, приглашая гостя в дом.

Степан легко соскочил с коня и, повернувшись к сопровождающему его казаку, сказал:

– Езжай, Еремка, ко мне на подворье. Погуляй, с девками царицынскими потешься. Если сильно буду нужен, знаешь, где искать.

Еремка улыбнулся, весело подмигнул атаману, хлестнул коня и помчался в город.

Степан усталой походкой прошел за Ефросиньей в горницу, где был накрыт стол.

– Садись, Степан Тимофеевич, откушай мое угощение, – пригласила женщина атамана.

Разин весело улыбнулся, сел за стол и, оглядев его, воскликнул:

– Давненько я так не угощался – за домашним столом. Забыл уже, как пахнет настоящая похлебка!

Ефросинья налила чарку, подала Степану со словами:

– Выпей за свои деяния!

Разин взял чарку с вином:

– Что же ты, красавица, сама не пригубишь за мои дела? – и лукаво посмотрел на женщину.

– За твои дела, батюшка, я с большой радостью выпью! – Ефросинья пригубила вина.

Вскоре гость и хозяйка наперебой заговорили. Вспомнили Петра Лазарева. Затем Степан рассказывал о персидском походе, о заморских странах и их людях, а Ефросиньюшка внимательно слушала возлюбленного, подперев подбородок рукой. Жадно ловила она каждое его слово.

Хотя многое из суждений атамана ей было непонятно, но почему-то она ему верила. Ведь он – народный заступник, и все, что делает и собирается сделать, – все это для людей.

В разговоре с Русаковой, с восхищением слушавшей его, атаман неожиданно для самого себя разоткровенничался:

– Придет, Ефросинья, времечко, когда мы освободим весь бедный люд, замученный помещиками и разными хозяевами непосильной работой. Поделим богатство бояр и воевод, нажитое трудом простого народа. Раздадим простым людям отобранное у богатых, и пусть они пользуются, радуются хорошей жизни. Освободим всех колодников, разрушим тюрьмы, а кровососов заставим работать. Пусть знают, как добывается хлеб в поте лица.

Русакова с удивлением слушала атамана. Видела, как преобразился Степан, как горели его глаза, как становилось добрым его лицо. Ефросиньюшка слушала и чему-то улыбалась, потом нахмурилась и вдруг спросила:

– Так и будем мы жить без воевод, бояр и стрелецких начальников? А кто же народом править будет? Так он разбредется, и работать будет некому.

Степан улыбнулся и стал объяснять:

– Вместо бояр, воевод да стрелецких начальников станет править атаман с казацким кругом. Как круг решит, так и будет в каждом городе и селе.

– Неужели ты, Степан Тимофеевич, такую управу хочешь наладить по всей Руси?

– Да, – твердо ответил атаман. – Если выйдет.

– Выйдет, Степан Тимофеевич! Обязательно выйдет, вон, как тебя люди уважают и любят, готовы идти за тобой хоть куда.

– А ты, Ефросиньюшка? – лукаво спросил Степан и придвинулся ближе к женщине, не отрывая от нее жадного взгляда.

Русакова вспыхнула, зарделась до корней волос, потупилась, но тихо произнесла:

– Уж я тоже за тобой – хоть куда!

Разин улыбнулся, притянул к себе женщину, сказал:

– А тебе и не надо никуда идти, ты уже рядом со мной!

Ефросинья не сопротивлялась объятиям и ласкам Степана. Она прильнула к сильной груди атамана и прошептала:

– Желанный мой!

Разин стал целовать женщину в губы, в шею, все больше и больше загораясь страстью к Ефросиньюшке.

\* \* \*

На другой день ранним утром Степан выступил против Лопатина. Двинулись казаки на стрельцов по реке на стругах, а по берегу конница с Фролом Минаевым во главе.

Перед тем как садиться в струги, атаман подозвал к себе Минаева и сказал:

– Дойдешь, Фрол, до Денежного острова и напротив его на берегу в лесочке схоронитесь. Дозор держите строго, чтобы стрельцы заранее вас не обнаружили. А мы с лодками спрячемся за косой. Как только служивые поравняются с нами, мы накинемся на них,отрежем им путь на Астрахань. Тогда они поплывут к берегу, а вы уж их там встречайте.

Фрол с удивлением слушал атамана: «И когда он этот план придумал? Знает, где какой остров, как будто век здесь живет».

– Когда ты, Степан, все это надумал? Ночь, что ли, не спал?

Атаман расхохотался, затем подмигнул Минаеву, хлопнул его рукой по плечу:

– На то мне голова Богом дана, чтобы думы думать да вас к победе вести.

Все рассчитал атаман, и как только казаки подплыли к Денежному острову и едва успели спрятать струги за косой в кустах, так и показались лодки Ивана Лопатина.

Разин напряженно всматривался вперед, как бы пытаясь найти самое слабое место у стрельцов, чтобы точно ударить врага и победить. Атаман отметил про себя, что стрельцов действительно около тысячи, но вооружены они хорошо и, если не растеряются, могут крепко всыпать его почти пятитысячному мужицкому войску.

Лодки стрельцов поравнялись с Денежным островом. Неожиданно из зарослей кустарника стремительно, наперерез стрельцам помчались казацкие лодки. Бахнуло несколько выстрелов из фальконетов. Разинцы с криком и гиканьем плыли навстречу служилым.

Иван Лопатин, широкоплечий, с окладистой черной бородой, стрелецкий голова, увидев множество казаков, сперва растерялся, не зная, что предпринять, но быстро пришел в себя и зычно крикнул:

– Стрельцы, к бою! Всем сотникам и полусотникам принять бой.

В лодках стрельцов уже началась паника: в растерянности одни побросали оружие, другие прыгали в воду, чтобы спрятаться на острове.

Осмотрев берег и не увидев там ничего подозрительного, Лопатин опять скомандовал:

– Все струги направлять к берегу!

– Все струги к берегу! – как эхо повторило стрелецкое начальство.

Вот уже передние лодки стрельцов столкнулись с казаками. Залязгали сабли, затрещали выстрелы из пищалей и пистолетов, закричали и застонали раненые. С большим трудом лодкам Лопатина все-таки удалось оторваться от казаков, и они стали быстро причаливать к берегу. Однако не успела еще подплыть последняя лодка из каравана, как из-за лесочка, который находился невдалеке, ударила казацкая конница. Стрельцы и вовсе смешались, не зная, куда бежать: со стороны реки наседали струги во главе с атаманом, с берега наступала конница.

И в этой, казалось, безвыходной обстановке голова Лопатин нашел в себе силы и скомандовал как можно громче:

– Всем лодкам плыть на Царицын!

Отбиваясь от казаков, стрельцам все же удалось развернуться и поплыть по течению реки. Гребя изо всех сил, они устремились под защиту стен Царицына.

Поняв намерения стрельцов, Степан Разин распорядился:

– Пока в драку не лезть, пусть плывут к Царицыну.

Иван Лопатин находился на головном струге и, глядя на отставших разинцев, в душе радовался:

– Эх, казачки, упустили вы времечко, не удалось вам взять нас голыми руками! Не с вашим рылом

с нами, стрельцами, тягаться в ратном деле!

Вот уже вдали показались спасительные стены Царицына. Лопатин перевел дух, перекрестился, сказав вполголоса:

– Господь спас нас от воров! – и крикнул: – Всем причалить к берегу и идти в город.

Вскоре все струги пристали к берегу, и стрельцы спешно направились к Царицыну. Не прошли стрельцы и половину пути к его стенам, как ударили тяжелые пушки.

Иван Лопатин побледнел, и в голове пронеслось: «Обхитрил все-таки меня атаман! Недаром говорили, что хитер Разин и многоопытен в ратном деле».

С реки подоспели струги казаков. Стрельцы заматались между городом и рекой, бросились бежать к видневшемуся вдалеке лесочку, но и оттуда легкой рысью шла казацкая конница. Служилые побросали оружие, сбились в кучу.

Степан Разин в окружении есаулов подошел к стрельцам. Красная рубаха на груди была распхнута, мускулистая грудь обнажена, глаза еще горели огнем жаркой битвы. Рукав рубахи был порван пикой, на плече из неглубокой раны сочилась кровь.

Долгим, тяжелым взглядом Степан посмотрел на стрельцов, затем низким голосом сказал, как бы выдавив из своих запекшихся губ рык:

– Где голова Лопатин?

Из толпы вытолкнули широкоплечего, ладно сбитого стрельца.

Разин смерил цепким взглядом голову, лицо его стало хмурым, надменным и жестоким, складка в переносье обозначилась резче:

– Так это ты государев изменник и холуй боярский?

Лопатин, казалось, не слышал вопроса Разина. Он зашелся в угрозах и проклятьях в адрес атамана и казаков.

Степан молча выслушал голову, затем спросил стрельцов:

– Был ли жесток с вами голова?

– Был! – крикнули из толпы. – Он до полусмерти забил двух стрельцов за неповиновение, пока мы сюда плыли.

– В воду голову! – заорало множество глоток.

Степан повернулся к стрельцам:

– Воеводу отдаю вам, судите его сами. А вас всех беру на службу. Любо ли я говорю, служилые?

– Любо! – нестройно закричали стрельцы.

– А коли любо, быть вам в войске моем, – улыбаясь, сказал Степан.

#### 4

Лето в Москве стояло теплое, сухое, только лишь изредка проходили ливневые дожди. Яркая зелень травы в кремлевском дворе привлекала своей свежестью. Стройные березки, шелестя листвой и задумчиво покачивая ветвями, стайкой стояли вдоль кремлевской стены.

Алексей Михайлович задержал взгляд на белоствольных деревцах: «Словно девицы-подружки: и стать в них, и красота!» Царь постоял еще несколько минут, полюбовался на яркую траву, березки, голубое небо, затем быстро поднялся на высокое красное крыльцо и направился в Крестовую палату, где его уже поджидали бояре для решения государственных дел.

Хотел Алексей Михайлович заглянуть по пути в царицыну палату к Наталье Кирилловне. Уже направился туда, да повстречался ему стольник Василий Нарышкин, зашептал на ухо о непристойном поведении Милославских. Царь морщился, слушал и не слышал стольника, думая о своем: «Опять поссорились они с царицей из-за ее родственников, которых она правдами и неправдами старалась пристроить ко двору. Ответил он ей вчера, что всех ее родственников взял бы к себе на службу, если бы они были ученые и умом не скудны». А царица залилась в истерике: «Ах, раз наши все скудоумны, значит, и я тоже? Зачем ты тогда в жены меня, скудоумную, взял? Брал бы из рода Долгоруких или Борятынских!» Попытался он оправдаться перед женой, но та разрыдалась и убежала к себе в опочивальню.

Царь знал, что Наталья Кирилловна отходчива и размолвка будет недолгой, но ему хотелось побыстрее помириться с женой: одна она в полумраке своей опочивальни. Снять бы с души этот камень. Но Василий не покидал царя и продолжал ему нашептывать на ухо. Алексей счел, что при стольнике не следует заходить к царице, боясь разговоров, что, мол, царь, прежде чем идти на совет с боярами, советуется с женой. И прошел прямо в Крестовую палату. Бояре уже все были в сборе, чинно сидели

по лавкам, тихо перешептываясь между собой.

Царь поискал глазами Юрия Долгорукого. Тот сидел между Никитой Одоевским и Юрием Борятинским, оживленно с ними разговаривал.

Когда Алексей Михайлович вошел, бояре встали, в палате наступила тишина. Царь жестом указал всем сесть и, не садясь в свое кресло, стал молча ходить по палате. Затем, остановившись напротив Долгорукого, сказал:

– Говори, князь, что там делается на Диком поле и в Царицыне? Мне вчера верные люди доложили, что вор собирается идти на Москву. Правда ли это? – Алексей резко развернулся, стремительно подошел к креслу, чинно сел в него, устремив взгляд исподлобья на князя Юрия. Долгорукий встал, пригладил бороду, поклонился, оттягивая время:

– На Москву вор еще пока не идет, но если дела его пойдут так же хорошо и наши воеводы его не остановят, то Разин может и сюда пойти. Уже сейчас вор Стенька является хозяином на Волге. Им захвачен водный путь по реке, а также перерезаны все дороги по суше на Астрахань. Нами, государь, были посланы стрелецкие полки головы Ивана Лопатина и воеводы Петра Урусова. Лопатин разбит казаками, а Урусов еще не дошел и до Саранска. Идти дальше или боится, или не торопится.

Перебив князя, царь резко сказал:

– Надобно немедленно остановить вора!

Среди бояр прошел громкий шепот.

Глядя царю в лицо, Юрий Долгорукий произнес:

– Нужно, государь, побыстрее направить опытных воевод на подмогу Урусову и перекрыть путь вора по Волге.

Алексей долго молчал, видимо, прикидывая, кого же послать ему из воевод против Степана Разина, затем, пристально оглядев бояр, молвил:

– Князьям и многоопытным воеводам, Юрию Никитичу и Даниле Никитичу Борятинским, немедля со своими полками выступить на Саранск водным и сухим путем.

Князь Данило – дородный, светловолосый, соскочил с места, хотел что-то возразить, но, встретившись с непреклонным, тяжелым взглядом государя, осекся, махнул рукой, сел на место.

– Пошлите грамоты в Тамбов и Белгород воеводам, чтобы стояли в своих городах крепко, а за поруку присяги будем казнить. Поставить вокруг городов хорошие заставы. Всех беглых людей, идущих на Дон и Волгу, ловить и вести спрос с пристрастием, а распознавши в них воров, вешать! – строго обратился царь к Долгорукому.

– Сегодня же пошлем грамоты, государь, – ответил князь Юрий, затем поспросил: – Вели, государь, еще сказать.

– Говори, Юрий Алексеевич!

– Против Разина нам удалось склонить едисанцев и калмыцких тайш. Но взбунтовались на Волге башкиры и калмыки, вышли на реку Куму, пожгли и разорили там поместья, шлют тайных гонцов к Стеньке Разину, ведут переговоры. А также сообщают верные люди, что Разин договаривается с атаманом Серко и гетманом Дорошенко, просит их выступить и ударить по украинным городам.

– Надобно укрепить эти города, дабы не дать идти на них атаману Серко и гетману Дорошенко, – приказал царь.

– Серко и Дорошенко на украинные города не пойдут, – твердо сказал Долгорукий.

– Откуда тебе, князь, это ведомо? – поинтересовался государь.

– Верные люди сообщили.

– На верных людей, боярин, не уповай и выставь там стрелецкие полки, на всякий случай, а то договорятся казаки меж собой и ударят вместе.

\* \* \*

Последнее время отношения князя Долгорукого с царем резко ухудшились. Все меньше и меньше душевных бесед было между ними. Завладел всецело царем стольник Василий Нарышкин. Первое время Алексей не очень-то жаловал стольника, да, видно, тот сумел влезть ему в душу своей лестью и угодами. И теперь не чаял в нем души царь. Советовался подолгу с ним в Крестовой палате, на зависть другим боярам, разговаривая с глазу на глаз.

Юрий Долгорукий все чаще и чаще думал: «Царь меня уже не жалует и, наверно, только терпит до поры до времени, может быть, уже замену подыскал из этих же Нарышкиных».

Князь решил все-таки попытаться вернуть былое положение при царском дворе. Он задумал обговорить все дела со стольником Василием. Вскоре такая возможность представилась. Однажды они встретились на кремлевском дворе. Обычно надменный и заносчивый перед Нарышкиными, Юрий Долгорукий заговорил первым.

– Здоров ли, князь Василий?

– Здоров, здоров! – ответил, лукаво улыбаясь, худощавый и с живыми зеленоватыми глазами стольник.

Бояре замолчали, с ненавистью глядя друг на друга. У Долгорукого уже пропала охота говорить о чем-либо со стольником, но все-таки, переломив себя, князь Юрий решил продолжить разговор. Он нервно потеребил бороду, затем сказал:

– Надобно мне, князь Василий, с тобой поговорить. Ты ведь теперь близок к царю и все знаешь, что при дворе делается.

– Что же ты хотел узнать, князь Юрий? – с вызовом спросил стольник.

Долгорукого так и полоснуло по сердцу, словно ножом. «Дожил, – подумал боярин, – уже какой-то князишко так говорит с ним – князем самого знатного и старинного рода». Юрий поморщился, размышляя, говорить или не говорить, и решил про себя: раз взялся за дело, надо доводить его до конца. Скривив губы, спросил:

– За что же я попал в немилость к государю нашему Алексею Михайловичу?

– Я тебе, князь Юрий, отвечу, но прежде обещай мне, что ты исполнишь мое желание.

– А велика ли твоя просьба? – спросил Долгорукий.

– Нет, боярин, она будет невелика и тобой легко исполнима.

– Говори, Василий, не тяни душу, – почти взмолился князь.

– У тебя есть дочь – красавица Мария, девка в самой поре: пора бы ей муженька доброго подыскать.

Не дослушав до конца стольника, князь Юрий перебил его:

– И кого же ты пророчишь в мужа моей дочери?

– Есть добрый молодец – мой меньшой сын Дмитрий, твоей дочке ровня, при дворе служит, царь его жалует! Чем не жених твоей Марии?

Князь Юрий с трудом вспомнил бледнолицего, чернобрового с копной длинных, густых, темно-русых волос молодого человека, одного из боевых московских воевод, недавно назначенного государем. Неспешно ответил, не проявив особой радости к будущему родству:

– Это я один, без дочери, решить не могу и неволить ее не буду.

– Ну что же, князь, – с горечью в голосе ответил стольник, – мы не гордые, мы можем подождать, когда ты со своей дочкой поговоришь, но обещаю тебе: если наши дети станут мужем и женой, твои дела, князь, наладятся и Алексей Михайлович снова будет тебя жаловать.

Юрий Долгорукий ничего не сказал стольнику, повернулся молча, сел на своего коня и поехал прочь из кремлевского двора. Но то, что сказал ему князь Василий, мучило его, не давало покоя. Долгорукий не мог допустить и мысли, что его дочь может стать женой какого-то воеводы из захудалого рода, у которого за душой одна лишь служба и больше ничего. Выходит, разворачивайся, Юрий Долгорукий! Если хочешь, чтобы дочь не нищенствовала, отдай богатое приданое. А если он не согласится отдать дочь за сына стольника, с царевой службы хоть уходи – князь Василий не даст ему покоя, будет нашептывать про него царю, строить против него козни. Как же быть?! Что делать, как ему поступить? – неоднократно задавал себе этот мучительный вопрос Долгорукий.

От государственных дел уходить не хотелось, да и знал, что Тишайший его разорит налогами или в измене обвинит, а тогда все отберут. Слишком хорошо князь знал царя, которого недаром за глаза звали Тишайшим, ибо тихо, но верно действовал Алексей Михайлович и в преобразованиях государственных, и в расправе с неугодными. Не хотелось Долгорукому попадать в опалу. Было князю о чем подумать. Поэтому, приехав в посольский приказ и пройдя в свою палату, он так глубоко задумался, что даже не заметил, как в дверь вошел Герасим Дохтуров. Дьяк потоптался на месте, кашлянул, но князь, по-прежнему опустив голову, сидел и не обращал ни на что внимания. Дохтуров вплотную подошел к боярину:

– Юрий Алексеевич, что с тобой? Не заболел ли ты?

Боярин невидящими глазами посмотрел на Герасима:

– Что у тебя, дьяк?

– Срочная грамота из Царицына от нашего человека Микифора Иванова, – и протянул свиток князю.

– Ты-то сам ее чел?

– Чел.

– Тогда расскажи, что там, – попросил Долгорукий, не в состоянии сам читать.

– Микифор пишет, что Разин собирается идти на Астрахань. Вор укрепляет Царицын, чинит стены, углубляет и чистит рвы. В городе оставляет атаманом своего человека – Прокофия Иванова. А управлять городом будут казацким кругом. Всех начальников в городе извел или прибрал в свое войско, а воеводу Тургенева царицынские же стрельцы посадили в воду. Все суда, идущие на Астрахань и из Астрахани, Разин перехватывает, товары забирает, а людей в свое войско перенимает. Стрелецкие полки, идущие на Царицын, вор побивает.

Рассказав в общих словах содержание грамоты, дьяк замолчал.

Юрий Долгорукий сидел молча, будто окаменел. Но вот веки у боярина дрогнули, лицо ожило, глаза заблестели. Видимо, князь принял какое-то решение, и это вывело его из пассивного состояния.

– Силен, как никогда, стал Разин на Волге, и нам ему пока ответить нечем. Помещики, воеводы и стрелецкое начальство разбегаются вместо того, чтобы собрать ополчение и ударить по казакам. Отпиши, Герасим, во все города на Волге воеводам, чтобы помещики собирали своих детей в ополчение против Разина. А тех, кто будет избегать государственной службы в это лихолетие для нашего государства, наказывать немилосердно – вплоть до смертной казни!

Юрий Долгорукий встал, прошелся по палате:

– Завтра же надобно побыстрее отправить полки боевых воевод Юрия Никитича и Данилы Никитича Борятинских против вора!

## 5

Наступил жаркий июнь. Нещадное солнце в середине дня раскаляло песок так, что невозможно было ступить на него босой ногой. От изнурительной жары люди прятались в тень, но и там было жарко. Лишь только вечером, когда с Волги тянул ветерок, летний зной отступал.

Лето уже было в разгаре, а казаки все еще медлили выступить из Царицына. Поговаривали, что Разин поджидает атамана Серко из Запорожья. Но запорожские казаки не появлялись, а драгоценное время уходило. Много раз собирався вольный казацкий круг, где до хрипоты спорили разинцы: куда же им идти – на Астрахань или на Казань? Не придя к единому мнению, недовольно расходились. Правда, с надеждой поглядывали на атамана, который в споры не вмешивался и до поры до времени молчал.

Вот и сегодня опять на кругу поспорили казаки, куда им идти, и стали расходиться. Стоя в стонке, атаман помалкивал, только тогда оживлялось его лицо и загорались искорками глаза, когда он слышал крики казаков, которые требовали идти походом на Астрахань. По всей видимости, это желание кричащих нравилось ему.

– Что же ты, Степан Тимофеевич? Хоть слово скажи казакам. Измаялись ребята спорить до хрипоты, а куда идти, так и не решили, – заговорил Черноярец, подходя к Степану.

– Что я им, Иван, скажу?! Пусть сами умом дойдут, – хитровато прищутив глаза, ответил Разин.

– Сказал бы ты им, батько, или намекнул бы как-нибудь, куда идти, сами-то не догадуются, – стал просить атамана подошедший Фрол Минаев.

– Ты, Фрол, посуди сам. Пойдем мы сейчас на Казань, а оттуда на Москву. Ну и что?

– Громить помещиков и бояр будем! – запальчиво ответил Фрол.

– Много ты нагроишь с такой силой. Да чтобы идти туда, надо иметь огромную силу, иначе побьют нас воеводы.

– Так ведь люди по пути к нам присоединятся. По Волге много народу живет.

– Пройдем мы одни, разве только черные посадские людишки к нам пристанут, а крестьяне – нет.

– Пошто так, Степан Тимофеевич, думаешь? – с удивлением и даже с раздражением спросил Фрол.

– Сейчас крестьяне заняты на полях. Когда уберут хлеб, тогда они к нам большим числом нахлынут, – терпеливо разъяснил Разин.

– А ведь ты верно говоришь, Степан. Покуда нечего там нам делать, – согласился Фрол, но тут же спросил: – Скоро ли выступаем на Астрахань?

– Скоро. Кроме того, надобно нам взять все нижние волжские города, чтобы сзади нас не было

врагов, когда пойдем вверх по Волге. Надо, ребята, людей готовить к походу на Астрахань, растолковать им, что нам сейчас нужно идти вниз по реке, чтобы на следующем большом круге они сами крикнули за поход туда.

К разговаривающим казакам рысцей подъехал Еремка. Увидев его, атаман поспешил ему навстречу. Не успел еще молодой казак открыть и рта, чтобы рассказать о результатах своей поездки, как Степан спросил:

- Как она там? Что велела передать?
- А что ей делается? Сказала, что поджидает тебя.
- Разин схватил под уздцы коня Еремки и коротко сказал:
- Слазь!

Поняв намерения атамана, Еремка молча уступил лошадь. Степан вскочил на жеребца и галопом помчался к дому Русаковой. Не успел Разин подъехать к дому и соскочить с коня, как ворота отворились, вышла Ефросинья и радостно воскликнула:

– Наконец-то ты приехал, Степан! – и женщина повела гостя во двор, продолжая говорить: – Слышала я, будто скоро уходишь со своим войском из города. Правда ли это?

- Правда, Ефросиньюшка, уходим мы вниз по Волге.

Женщина вдруг ойкнула, схватившись за живот, и присела на лежавшие во дворе бревна.

Степан подскочил к Ефросинье, тревожно спросил:

- Что с тобой, любушка?

Она странно и загадочно улыбнулась, тихо промолвила, стыдливо опустив глаза:

- Тяжелая я, Степушка, понесла от тебя. Казак у нас будет.

Атаман обнял женщину за талию, поцеловал ее в шею и тихо прошептал:

- Если родится казак, береги его.
- Коли казак, назову его твоим именем, – ответила Русакова.

Степан и Ефросинья на некоторое время замолчали, каждый думал о своем. Она мечтательно улыбалась, устремив взор вдаль, а он с серьезным, даже суровым, лицом наблюдал за ней, думая о будущем нового казака, который, может быть, уже не увидит воевод, помещиков и разных начальников-насилльников простого люда, а будет свободным человеком.

\* \* \*

Вот и пришел день, когда разинцы стали покидать Царицын. Отданы последние распоряжения по укреплению города, посланы усиленные отряды в ближайшие городки вокруг Царицына – для защиты подступов к казацкой цитадели. Первым из города уходил Фрол Разин. Проводить брата выехал за ворота на вороном жеребце Степан в сопровождении есаулов. Братья чуть приотстали от казаков, разговаривая между собой:

– Я уже, Фрол, наказывал тебе, что, когда придешь на Дон и в Черкасск, от домовитых казаков держись подальше, сплавивай вокруг себя голытьбу, а с Корнилой держи ухо востро и глаз с него не спускай, следи за всеми его делами, гонцов, посланных им куда-либо, старайся перехватить.

- А если Корнило вздумает нас в город не пустить и из пушек палить начнет?

Степан заулыбался, затем ответил:

– Не такой уж дурак мой крестный отец, чтобы сейчас пушками встречать, наоборот, примет тебя с хлебом и солью, начнет около тебя юлить и с пути сбивать, а ты его сладким речам не очень-то верь. Бери все под сомнение, тогда не ошибешься. У тебя десять пушек. Если что – ответишь, казна тоже не пуста, есть сорок тысяч серебром и золотом, да царицынским дуваном набиты телеги. Добро не скупись раздавать простым людям, всячески привлекай их на свою сторону, а от черкасских старшин держись подальше, не давай им воли. Ты на Дону будешь у меня глазами и ушами. Знаю, слабоват ты характером, но Яков Гаврилов идет с тобой походным атаманом и там, на месте, будет главным твоим советчиком. Его слушайся, но и воли большой не давай – горяч больно. Он со мной все невзгоды прошел, предан нашему делу, плохому не даст свершиться.

Фрол было хотел возразить в адрес Гаврилова, но Степан не дал ему сказать:

– Знаю, не любишь ты Якова. А зря. Он верный человек, а что пошутковать любит, острое слово сказать, так это разве плохо, от этого только польза.

Фрол ничего не ответил брату, видимо, соглашаясь с его доводами.

– Когда я возьму Астрахань, – продолжал атаман, – и вновь пойду вверх по Волге, ты двинешься

со своими людьми к Коротояку и ударишь по русским уездам. Зори помещичьи усадьбы, перенимай работный люд и особенно крестьян на свою сторону привлекай – уж очень они на помещиков злы.

– Что-то боязно мне, Степан, за такое большое дело братья. Может, Яков Гаврилов все это лучше меня сделает?

– Нет, Фрол, не могу я всю власть отдать Якову. Уж больно горяч казак, боюсь, кабы не наломал он дров. А вместе у вас все ладно будет. Шли ко мне гонцов с грамотами, а в них обо всем пиши, что делается у вас и в войске Донском. Если увидишь, что Корнило что-то замышляет против нас, сразу же сообщай. И самое главное: следи, чтобы он не сносился с Москвой.

– Ох, Степка, взвалил ты на меня непосильную ношу! А вдруг не смогу войском править?

Степан, улыбнувшись, сказал:

– Сможешь, а если где не получится – учись. Скоро надо будет править многими городами, ставить там атаманами верных людей. Где же я их наберу? Так что, Фрол, хватит тебе стонать, как бабе, бери себя в руки и будь атаманом, да таким, чтобы казаки за тобой шли, не жалея своего живота.

После этих слов Фрол взбодрился, выпрямился в седле, взгляд его стал веселее.

Взглянув на брата с улыбкой, Разин сказал:

– Ну вот, теперь и ты атаман. Давай будем прощаться, а то твои казаки далеко уж ушли, – и указал рукой на удалявшийся в степь отряд, который оставлял за собой взрытую копытами и колесами телег землю да поднятую столбом пыль.

Поцеловал Фрола по-русски, напутствовал словами:

– Помни мой наказ, брат. И самое главное – не посрами нас, Разиных. Всегда вспоминай, каковы были твой отец и брат Иван, что сложил голову за казацкую волю.

– Буду помнить! – торжественно ответил Фрол и галопом пустил коня вдогонку за своим войском.

Разин еще долго оставался на месте, вглядываясь вслед уходящим на родной Дон казакам.

Вот уже последний всадник исчез из виду в поднятой войском пыли, которая, клубясь, медленно оседала, удаляясь все дальше, за горизонт. Наконец и она исчезла, и не было уже видно в степи никакого движения, только лишь остался след от пройденного войска.

\* \* \*

Ранним утром казаки уплывали из Царицына вниз по Волге – к Астрахани. В городе оставил Разин каждого десятого – по жребью. Не хотелось казакам оставаться в Царицыне, тянуло разгуляться с товарищами. Знали, что ждут их богатый дуван и веселая казацкая жизнь. Но приказ атамана был законом, и ослушаться его никто не имел права, ибо ведали, что, несмотря на доброту к простому люду, Разин был очень строг с теми, кто не хотел выполнять его волю.

На пристань высыпало много народу: те, кто отплывал; те, кто оставался в городе; провожавшие казаков царицынцы. Степан чуть свет уже хлопотал у воды, руководя погрузкой съестных припасов, распределением казаков по лодкам. Вскоре войско Разина погрузилось, распрощавшись с друзьями, женами и зазнобами. Ударили со стены Царицына тяжелые пушки. Как эхо ответила с головного атаманова струга маленькая пушечка, давая сигнал к отплытию. Разинцы начали поднимать паруса. Лодка атамана первой стала разворачиваться, направляясь вниз по течению, а за ней последовали другие: маленькие и большие казацкие суда.

Ефросинья стояла чуть в стороне от толпы – на пригорочке, отыскивая глазами атамана. Степана не было видно, но вот он подошел к борту струга, вглядываясь в толпу провожающих и отыскивая кого-то глазами. Ефросинюшка помахала ему рукой, Разин это заметил, улыбнулся, что-то крикнул ей. Но она не расслышала слов. Комок подступил к горлу, сдавливая грудь, крупные слезы покатались из глаз. Под сердцем у нее что-то затрепетало, ворохнулось, женщина прижала ладонь к животу и, улыбнувшись сквозь слезы, прошептала: «Дите твое, Степушка, уж просится на волю. Когда вернешься назад в Царицын, появится на свет божий». Вскоре лодки вытянулись в длинную вереницу, удаляясь от пристани. Попутный ветер надул паруса, убыстряя ход стругов. Ефросинюшка до боли в глазах вглядывалась в лодку атамана. Она пыталась еще раз увидеть милого сердцу человека, о котором будет тосковать, поджидая его дни и ночи. Вот уже от казацкого каравана осталась небольшая чернеющая точка, которая вскоре пропала из виду. Царицынцы стали расходиться с пристани, а Ефросинюшка все еще стояла, вглядываясь в даль реки, как будто надеялась, что казаки вернутся назад.

Река была пустынна. Тихо и величаво несла она свои воды, безразличная ко всему: ни горе, ни радость людей, ни их свершения ее не волновали.

## 6

Разинцы подплывали к Черному Яру. На реке все было спокойно, и они, не хоронясь, открыто шли по Волге. Казацкие дозоры, уходя далеко в степь на многие версты вперед, сообщали обо всем атаману.

В окружении ближних есаулов Разин сидел на носу своего струга за столом, уставленном закусками.

– Эх, и хороша жизнь казацкая! – воскликнул Фрол Минаев. – Вот так бы всю жизнь плыл по реке, закусывал да вино пил!

– Подожди, Фрол, доплывем до Астрахани, там тебе Прозоровский как следует всыплет – и плавать не захочешь! – иронизировал Леско Черкашин.

– А что он мне всыплет, если астраханский народ и стрельцы через лазутчиков сообщают, что они воевать с нами не будут.

– Так-то оно так, Фрол, но ты же знаешь, каковы там воеводы. Один Прозоровский чего стоит. Он тебе не чета царицынскому воеводе Тургеневу. Тем более Астрахань – крепость неприступная, силой ее едва ли взять, разве что хитростью, – заключил Чернойрец и покосился на Разина.

Захмелевший Степан ответил:

– Верно, Иван, только хитростью мы возьмем Астрахань – скорей всего, сами горожане нам помогут, откроют ворота. Надобно туда побольше лазутчиков из астраханцев послать. Пусть среди народа говорят да подбивают людишек побольше на нашу сторону.

– Много у нас там товарищей осталось еще с первого похода. Они помогут, – влез в разговор Леско Черкашин.

– Ага, у тебя много там товарищей осталось – особенно этих... – подковырнул есаула Ефим.

– Это кого этих? – заподозрив подковырку, зашелся Черкашин и подался весь вперед – к Ефиму.

– Да бабенки! Этих товарищей у тебя в Астрахани много осталось, – ответил под общий смех Ефим.

Задиристый по характеру, Леско резко кинулся на Ефима, но богатырь с доброй улыбкой на лице подхватил есаула в могучие объятия, сильно сжав его в железных, как клещи, руках.

Леско застонал от боли, взмолился:

– Да отпусти ты, черт! Дал же господь тебе такую дурную силу! Тратил бы ее, что ли, на что-нибудь!

– На баб? – ввернул Фрол Минаев в ответ Леске.

– Тьфу ты, черти, дались вам эти бабы, – плюнул на землю в досаде казак и отошел в сторону к борту струга, вглядываясь в берег, откуда заметил нескольких всадников, которые что-то кричали, махали руками.

– Гляди-ко, батько, кажись, нас кличут, – сказал Черкашин, обращаясь к атаману.

Степан пристально поглядел на всадников, поскреб пальцами бороду, задумчиво произнес:

– Кто же это может быть? – затем приказал пристать к берегу. Один из казаков подошел к атаману и заговорил, показывая на неизвестных людей:

– Вот беглые астраханцы на наш разезд набрели, сказывают, хотят тебе что-то важное сообщить.

Степан внимательно посмотрел на астраханцев, по всей видимости, работных людей в потертой и грязной одежде, измученных дальней дорогой.

Один из них – светловолосый, с продолговатым лицом, одноглазый, с длинным шрамом на лице, – смело подошел к атаману:

– Воевода Прозоровский более пяти тысяч стрельцов послал против тебя, батько, и ведет их воевода Львов. Подходит он уже к Черному Яру. Так что, атаман, стерегись.

– Спасибо тебе, браток, за такую весть, – и атаман милостиво протянул астраханцу кубок с вином.

– Выпей! – ласково предложил, а когда работный выпил вино, Разин спросил:

– Это кто же тебе так лицо изуродовал?

– А это, батько, угостили меня стрельцы по приказу воеводы Прозоровского за то, что о тебе людям рассказывал и звал народ к тебе пробираться после того, как ты ушел из Астрахани. Выследили меня истцы, схватили и всыпали кнута. Думал, что жизни лишат, да обошлось, только глаз вышибли да отметину на лице оставили.

Степан с жалостью посмотрел на астраханца:

– Как же звать тебя, сердешный?

– Алексеем Поповым кличут меня, атаман.

– Знать, за волю пострадал. Теперь тебя никто не обидит, будешь на моем струге плыть.

– Спасибо, батько! – с радостью воскликнул Алексей.

Степан подозвал Ивана Черноярца:

– Надобно, Иван, сообщить Шелудяку и Еремееву, чтобы шли с конницей по берегу Волги. Пусть идут сторожко, везде разошлют разъезды, дабы узнать, где Львов со своими стрельцами. А также послать многие мелкие лодки по Волге вперед – пусть ищут стрельцов Львова.

– Я думаю, что надо отправить людей к Шелудяку, – поддержал Разина Черноярца.

– Это ты верно говоришь, Иван, – согласился атаман и внимательно посмотрел на своих есаулов, как бы прикидывая, кого же из них послать.

– Тебе, Фрол, придется идти с сотней казаков на берег. Когда придешь к Шелудяку, обскажешь ему, что при встрече с Львовым мы ударим по нему с реки, а вы с берега – конницей. Постоянно шлите гонцов, сообщайте обо всем, а в удобном месте, где река делает повороты, подходите к берегу, будем перекликаться.

Фрол выслушал атамана, не теряя времени, сел в лодку и поплыл к своему стругу, чтобы исполнить приказ.

\* \* \*

Семен Иванович Львов отдыхал в отдельной хоромине, в палатах черноярского воеводы, после длительного перехода из Астрахани. Он еще вчера привел в городок Черный Яр около пяти тысяч стрельцов, не считая татарских мурз с воинами да калмыков.

Проснулся воевода рано, когда чуть забрезжил рассвет, попытался еще раз заснуть, но сон не шел, в голову лезли всякие мысли. Хоть и договаривались они со Стенькой о помощи друг другу, да обещаниям его грош цена. Уж больно хитер атаман, и удача пока его не обходит. Что если все-таки взять сторону Разина – казацкий атаман ему нравился за смелость и живой ум – и пойти открыто против государя? Нет! Удача атамана временная, пока государь не собрал силы. А как соберется войско, конец придет атаману и его воякам, не устоять им против обученных бою стрельцов и солдат. Нет, за Стенькой в открытую не пойти. При случае надо дать ему бой, чтобы разбить, опять же в этом случае от государя, может, милость будет. Глядишь, опять в Москве воеводить будет он, Львов. Эта тайная мысль постоянно закрадывалась в душу, ему снились столица и его бывшее положение при дворе.

Подумав об этом, Иван Семенович стал вздыхать, ворочаясь с боку на бок на мягких пуховиках, от которых было жарко. Он потел, вытирал покрывалом пот с лица, шеи и думал, сомневался, расчетливо прикидывал – нет, не было уверенности в атамане. Государственную машину Тишайшего Львов хорошо знал. Царь неглуп. О своей мечте по созданию более совершенного государства когда-то поведал ему сам государь. По-русски, медленно, но верно раскручивался государственный механизм, и уже его цепкие, сильные щупальца проникали во все уголки России. Непрестанно шли царские грамоты, которые заставляли все приказы поволжских городов действовать против Разина. Еще знал Львов, что сломать государственную машину атаману, хотя и способному в военном деле, не под силу, поэтому твердо решил – открыто на сторону Разина не идти, а выгоду, если она подвернется, извлечь.

Как только это решение созрело у князя, в опочивальню постучал дворецкий воеводы Сергеевского и затем, заглянув в дверь, спросил:

– Не изволите ли, князь, встать? Прискакал гонец, рассказывает, что Стенька Разин на подходе к городу. Вас уже ждут в приказной палате воеводы и стрелецкое начальство.

Это сообщение для Львова не было неожиданностью, он его ждал и поэтому не испугался, не засуетился, а, не торопясь, встал, оделся, выпил прямо из ядовы холодное сыто, заспешил в приказную палату.

После бурного обсуждения последних событий было решено, что воевода Львов на стругах со стрельцами поплывет навстречу Разину, а воевода Иван Сергеевский – человек строгого нрава и в ратном деле опытный, останется в городе, чтобы пушками поддержать стрельцов.

\* \* \*

Перед самым городом, в тылу у воеводы Львова, Степан Разин появился неожиданно. Увидев его сзади себя, князь сразу же оценил обстановку и в уме прикинул: «Казаков тут немного, с этими мы совладаем, а потом и других побьем», – и крикнул во всю мощь своих легких: «Разворачивай струги на воров!»

Стрелецкие струги быстро развернулись и пошли на сближение с казаками. Разинцы пристали к берегу, затем, выстроившись в боевой порядок, загородили вход в город и стали поджидать стрельцов. Увидев это, Львов заулыбался, подумал про себя: «А еще говорили, что атаман хитер! Кто же своих людей ставит под пушки? Ведь сейчас тяжелые пушки Черного Яра откроют огонь и им конец!» – и с надеждой поглядел на стены города. С удивлением он отметил, что у пушек не видно обычной суеты, зажженных фитилей. Смутное чувство беспокойства закралось в душу князя, он подумал: «Однако что-то воевода медлит!»

Князь выдернул из ножен саблю, крикнул своим сильным, низким голосом:

– К бою, стрельцы! Постоим, не жалея живота своего, за государя нашего!

Стрельцы приготовились к бою, и как только лодки пристали к берегу, смело пошли на разинцев.

Оглушительный нарастающий шум тысячи голосов на какое-то время остановил решительное наступление стрельцов. Они увидели, что слева, из-за холма, на них идет лавиной многотысячная пехота Разина, у каждого в руках либо острая пика, либо сабля, либо пицаль.

Стрельцы остановились, затоптались на месте, не зная, что предпринять. Татары и калмыки, увидев несметную силу Разина, повернули коней и умчались в степь, нахлестывая плетью своих низкорослых лошадок.

«Пора бы и пушкам заговорить, – подумал князь и посмотрел на стены Черного Яра, но там не было видно никакого движения. – Что же там происходит?» – забеспокоился Львов. Видя, что подмоги ждать неоткуда, Иван Семенович плюнул в досаде на землю, крепко сжал рукоять сабли, смело вышел впереди стрельцов. Лицо его было мужественно, взгляд горяч, только горькие складки залегли по уголкам рта.

– Братцы! Помните о присяге, которую вы давали государю нашему! Постоим за православную веру! – и воевода пошел на разинцев, но, не услышав за собой шагов, обернулся. Стрельцы стояли на прежнем месте, опершись на бердыши и пицали. Затем их ряды спутались, и они, не обращая внимания на воеводу, который продолжал призывать к бою, заговорили между собой. Среди них зашевелились какие-то люди в стрелецких кафтанах, они призывали:

– Братцы! Разве Стенька нам враг! Он за простой народ стоит! Вяжите воевод и начальных людей!

Видя это, князь Львов с саблей бросился на смутьянов, но стрельцы бердышами загородили ему дорогу. Чернобородый стрелец, насмешливо глядя в лицо Львову, сказал:

– Погодь, князь! Остынь!

## 7

Львов не на шутку озлился на такое отношение к нему стрельцов. Выругавшись последними словами, воевода кинулся на них, крича:

– Изменники! Государю нашему изменяете! Присягу рушите!

Десятки рук захватили князя, выбили саблю, потянули в толпу. Затрещал кафтан, кто-то рукоятью бердыша ударил его под дых. У Львова помутилось сознание, заходили в глазах разноцветные круги, в душу закрался леденящий страх. А где-то рядом уже раздавались угрожающие крики:

– Давайте этого борова сюда! Сейчас мы с кровососом посчитаемся!

Львов в душе начал молиться, думая, что пришел ему конец. Но вот толпа расступилась, оставив в середине круга князя, уже изрядно пощипанного и потрепанного. К Львову подошел Степан Разин. Он был возбужден, держал в руке обнаженную саблю. Кафтан расстегнут, борода всклокочена, волосы спутаны, брови в переносье грозно сошлись, но в глазах ходили веселые искорки. Хотя атаман и напустил на себя строгость и важность, но в душе был доволен происходящим.

– Погодите, ребята, над воеводой расправу чинить! – строго потребовал Разин.

Казаки и стрельцы отступили на шаг, а кто характером послабее, спрятались за спины товарищей.

– Что же это вы, братцы, без моего ведома расправу над князем чините? Мы с ним еще в Астрахани породнились.

Воевода в упор посмотрел на атамана и, приблизившись к Разину, злобно прошептал:

– Зачем позоришь мои седые волосы? Вели лучше меня в воду посадить!

– Что делать с тобой, князь, я сам знаю! В воду сажать тебя не буду, а будешь мне служить, – не успел князь что-либо ответить атаману, как тот повернулся спиной к нему, поглядел в сторону ворот Черного Яра.

В это время они отворились, и под барабанный бой с развернутыми знаменами стрельцы вышли навстречу Разину. Сзади стрельцов маячила группа офицеров, дворян и писарей: они, опустив головы, понуро двигались за стройными рядами служилых.

Приказав Леске Черкашину присмотреть за Львовым, атаман поспешил навстречу стрельцам, расцеловался с широкоплечим рыжебородым служилым, похлопал его по плечу:

– Спасибо вам, братцы, за службу при взятии Черного Яра!

Стрельцы и казаки смешались, стали между собой разговаривать, знакомиться, угощать друг друга вином.

Кто-то из казаков обратил внимание на кучку офицеров и дворян, которые под общую суету незаметно подобрались к лодкам и уже стали готовиться к отплытию.

– Ребята, зрите! – закричал молодой казак Василий, недавно прибывший в отряд Разина из Черкаска. – Стрелецкие начальники с дворянами убежать хотят, уже в лодки садятся.

Степан тут же приказал Красулину:

– Пальни, Иван, из пушки, может, стрелецкое начальство одумается!

Иван, слывший в войске Разина метким стрелком, тщательно прицелился, затем выстрелил. Подручные быстро зарядили пушку. Снова прозвучал выстрел. Ядра пролетели над головами беглецов. Стрелецкие начальники и дворяне повыскакивали из лодок, побежали назад, прося о пощаде.

Казаки и стрельцы окружили вернувшихся. Кольцо сжималось все плотнее. Вот уже кое-кого поволокли к Волге, но подоспевший Степан Разин распорядился:

– Не трогать служивых – будем каждого судить кругом. Если добрый человек, будет служить у нас в войске, а если обижал простых людей, то в воду посадим.

Затем атаман отправился с ближними есаулами в город. За ними вели князя Львова и стрелецкое начальство. Разин сразу же отправился на воеводский двор Ивана Сергеевского. Вся ватага ввалилась в дом, который был рублен из толстой лиственницы.

Бревна, прокопченные временем, были толсты и темны до черноты. Небольшие подслеповатые оконца затянуты желтоватой слюдой, поэтому в помещениях было сумрачно. В одной из просторных комнат поселился атаман, а остальные помещения заняли его удалые есаулы. Как только Степан расположился у себя в палате и переоделся в другое платье, он велел позвать к себе Ивана Черноярца.

Когда вошел есаул, Разин сидел за столом в голубом кафтане, шитом золотом, в красной рубахе с расстегнутым воротом. Было видно, что Разин доволен победой, его лицо посветлело, даже две резкие складки на лбу у переносья разгладились и были чуть заметны.

– Седай рядом, – весело пригласил атаман своего друга, еще находясь под впечатлением взятия города, с усмешкой сказал:

– Ловко мы их! – затем мечтательно проговорил, как бы самому себе. – Эх, Астрахань бы нам так взять. Но такой удачи нам, наверно, не будет, а штурмом брать крепостные стены войско наше не свично. Бою учить народишко надо, да времени нет.

– Сказывают, Тимофеевич, что в Астрахани людишки нас поджидают, – встрял в рассуждения Степана Черноярца.

– Простые люди поджидают – это верно, да вот Прозоровский не лыком шит. Серьезный воевода! Это тебе не царицынский Тимошка Тургенев и даже не князь Львов, – и, опять усмехнувшись, добавил: – Эх, ловко мы прибрали их к рукам! – Потом, посерьезнев, начал вести разговор о деле:

– Надобно, Иван, человек десять верных нам людей послать в Астрахань. Особенно стрельцов Львова. Пусть там говорят, что, мол, сбежали от нас, что князь Львов теперь служит казацкому атаману, и эту весть пусть разносят по всему городу.

– Нашто тебе это про Львова? – удивился Иван.

– Плохо ты людишек знаешь. Если уж воевода нам служит, то простой народ и вовсе захочет за нами идти.

Степан разгладил бороду, о чем-то задумался, помолчал некоторое время, затем спросил:

– Найдем ли мы таких людей, чтобы послать в Астрахань?

– Найдем, это невелика задача. Сегодня же и пошлем, – уверил атамана первый есаул.

– Фрол Минаев не вернулся еще со своими ребятами из Камышинки? Что-то от него ни слуху ни духу, – с беспокойством спросил Разин. – Поди, побил его там Евфимий Панов.

– Если боем будет брать Камышинку, то долго простоит он у стен города. Может, застрял там, а гонцов не шлет потому, что похвалиться нечем, – сказал Иван.

Но вот раздались чьи-то тяжелые шаги, и в палату ввалился улыбающийся Фрол Минаев в стрелецком, запыленном и забрызганном грязью платье.

Разин с Черныярцем, повернувшись в сторону вошедшего, с удивлением посмотрели на Фрола, чем еще больше развеселили есаула.

Минаев уселся рядом с атаманом на лавку и продолжал улыбаться.

Разин опять недоуменно поглядел на Фрола:

– Видно, взял Камышинку, атаман, раз такой веселый.

– Взят! – смеясь, ответил есаул.

– А одежонка на дуване, что ли, досталась? – подковырнул Иван.

– А, это! – захохотав, ответил Фрол и, посерьезнев, стал рассказывать: – Как мы подошли к Камышинке, уже темнеть стало. Видим: крепость сходу взять не удастся. А Ефим и говорит: «Давайте в стрелецкую одежду переоденемся». Благо, нам по пути встретился стрелецкий обоз. Взяли мы его без боя, а стрельцы к нам на службу перешли. Везли они в обозе одежду да съестные припасы. Переоделись мы, человек двадцать, в стрельцов и в ворота стучимся.

Сам воевода вышел на стену спрашивать, кто такие. Я ему говорю, что, мол, посланы мы к ним аж с самой Москвы на помощь против вора Стеньки Разина. Ох и рад-радешенек же он был, даже троекратно меня расцеловал.

Остальное наше войско до поры до времени в ближнем лесочке укрылось. Ночью мои ребята в караул у ворот встали. В карауле, конечно, были и камышинские стрельцы, но их долго уговаривать не пришлось. Уже глубокой ночью открыли мы ворота, и в город вошло наше остальное войско. Видели бы вы, как растерялся воевода Евфимий Панов, как от удивления у него выпучились глаза и нижняя губа отвисла, – и Фрол Минаев смешно изобразил воеводу.

Казаки захохотали, потом атаман спросил:

– А куда же ты воеводу-то дел?

– С собой привез, буду казакам этого дурня показывать для смеха.

– Ай да Фрол! Молодец! – стал хвалить атамана Разин. – Взят Камышинку! Да как взял! Ни одного человека под крепостью не оставил!

От этих слов атамана Фрол еще больше заулыбался. С превосходством поглядывал на Черныярца, всем своим видом показывая: это, мол, не около атамана крутиться да советы ему давать, вот каков он – боевой есаул. Черныярец же – от природы человек умный и простой в отношениях с казаками, посмотрев на Фрола, снисходительно улыбнулся.

Разин все это время молчал, что-то про себя обдумывая, потом проговорил:

– В Черкасск надобно казаков послать с вестью о нашей победе. Пусть там знают добрые люди и порадуются за нас, а домовитые и враги наши полопаются от зависти.

– Может, рано еще о победах трезвонить, после Астрахани сообщим на Дон, – засомневался Иван. – А вдруг не возьмем ее?

– Возьмем! – уверенно ответил ему Разин. – Надо только в это крепко верить. Люди, прослышав про наши победы, к нам пойдут. А боевые казаки нам до зарезу нужны, они ведь к бою свичны, не то что мужики: злобы у них много, а умения нет. Атаман встал и, обращаясь к есаулам, сказал:

– А теперь, казаки, идите по делам, готовьтесь в путь, завтра круг соберем, а там поплывем дальше, на Астрахань. Пусть приведут ко мне Львова. Поговорить с ним надобно.

Пока Черныярец ходил за князем, Степан велел накрыть стол с вином и закуской.

Львов вошел к Разину не спеша, но взгляд его был настороженный, руки выдавали волнение. Он не знал, куда их деть.

Жестом Степан указал Львову на лавку, изучающе оглядел и, не видя на лице боярина смятения, чуть заметно улыбнулся. Заговорил:

– Я вижу, Семен Иванович, ты о потере войска своего не очень-то горюешь.

– Что было, атаман, то уже прошло! Чего о прошлом-то жалеть? Видно, судьба у меня такая непутевая: век мне отсюда в Москву не выбраться. А теперь и вовсе.

Степан дерзко посмотрел в глаза Львову:

– А хошь, я тебя верну в Москву?

– Как? – удивился Семен Иванович.

– Будешь у меня служить воеводой. Как возьмем Астрахань, брать Москву пойдём. Вот тогда ты туда и вернешься.

Князь Иван с любопытством поглядел на Разина: «Неужто этот казак и впрямь решил идти на Москву?»

– Не верю я, Степан, в твою затею. Сейчас у тебя успех потому, что тут нет государевых стрельцов и солдат. А те, кто есть, они все люди шаткие и посланы служить сюда за провинности. А как пошлют дворянские полки, иноземных солдат да верных царю стрельцов, конец тебе придет, Степан. Пока ты в славе и у тебя успех, люди идут за тобой, но если чуть-чуть пошатнется твоя казацкая удача, побегут от тебя людишки в разные стороны.

– Неужели ты веришь в это, князь? – лукаво спросил атаман.

– Это, Степан, не вера, а жизнь. Я людей знаю, – ответил Львов.

Степан пристально посмотрел на воеводу и угрюмо проговорил:

– То, что будет со мной – это еще будет. Жизнь покажет. А сейчас прямо мне ответь, Семен Иванович, будешь мне открыто служить или нет?

Князь Львов надолго задумался, нервно барабанил пальцами по столу, сотрясая серебряные кубки с вином, к которым они так ещё и не притронулись. Медленно, как бы говоря сам с собой, заговорил:

– Надобно подождать, время покажет, как быть.

## 8

В это утро князь-воевода астраханский Иван Семенович Прозоровский проснулся, когда чуть-чуть забрезжил рассвет. Душу князя переполняли тревожные предчувствия. Из головы не выходило беспокойство за успех похода князя Львова. Хоть и был уверен Прозоровский в его победе, а на душе все равно было беспокойно. Доносили извечки воеводе, что идет вор Стенька Разин с несметной силой, по Волге плывут они в небольших лодках, человек по пять-десять. Не очень-то верил князь в несметную силу Разина и думал, что, дескать, у страха глаза велики! Князь Львов – боевой воевода! Уж он-то всыплет этой разбойничьей толпе.

Иван Семенович выглянул в окно. Было пасмурно. «Хоть бы дождь пошел, что ли», – подумал князь и потер ноги, которые всю ночь у него ныли на погоду – болели старые раны. Воевода посмотрел на море, на пристань, где стоял красавец «Орел» – боевой корабль, со многими пушками, которым командовал иноземец Бутлер, державший себя высокомерно. Князь выносил его с трудом, часто думал про себя: «Неужто не нашел Тишайший русского человека, чтобы командовать этим кораблем?»

Но вот Иван Семенович увидел, как к его воротам подъехал стрелец и начал стучаться. У князя екнуло сердце от нехорошего предчувствия, и он заспешил на крыльцо, чтобы встретить посланца. Не успел воевода выйти, как увидел спешащего ему навстречу стрельца. Подойдя, служилый остановился и поклонился в пояс.

– Грамоту давай! – потребовал нетерпеливо князь Прозоровский.

– Грамоты нет, велено на словах передать.

– Говори.

– Князь Львов перешел на сторону Разина, – выпалил стрелец.

Это известие, как громом, сразило воеводу. Он стал хватать ртом воздух, зашатался, но, овладев собой, спросил:

– Как это случилось?

Стрелец молчал, переминаясь с ноги на ногу, потом выдавил из себя:

– Не знаю.

Иван Семенович, не помня себя, резко повернулся, пошел в опочивальню и очнулся, уже сидя в своем кресле. От такого известия у князя стал подергиваться левый глаз. Воевода лихорадочно размышлял: «Почему изменил князь? Ведь он его не обижал. Может, польстился на Стенькины богатства? Может, много золота дал ему атаман?»

Воевода встал, медленно прошелся по опочивальне, подошел к окну, подумал: «Ну и черт с ним, с князем Львовым, без него управимся с ворами!» Взгляд рассеянно скользнул по крепостным стенам: «Надобно починить и их, и земляной вал. Рвы почистить не помешает». Оглядев крепость ещё раз, подумал: «Да что мне какой-то Стенька-вор! Вон у меня по стенам стоят пятьсот пушек, ни одна крепость на Волге не имеет столько боевого огня и укреплений. Иноземцы в один голос твердят, что астраханская крепость устоит против огромной армии».

Иван Семенович, успокаиваясь, мерил опочивальню шагами. Придя в себя, кликнул дворецкого и приказал немедленно позвать Игнатия.

Вскоре в опочивальню князя, часто кланяясь и подобострастно улыбаясь, проскользнул дьяк. Его глаза бегали, стараясь поймать каждый жест воеводы, каждое изменение в лице.

- Что прикажете, князь пресветлый Иван Семенович? – вкрадчивым голосом спросил Игнатий.
- Со дня на день к Астрахани подойдет вор Стенька Разин.

При этих словах дьяк торопливо перекрестился:

– Господи! Господи! Опять на нас напасти, – ему почему-то вспомнилось искаженное смертью лицо замученной им казачки Марии, и от этого дьяку стало плохо, видно, час возмездия приближался.

Воевода пристально посмотрел на него:

- Не болен ли ты, Игнатий?
- Нет, батюшка. Уж больно известие плохое, князь пресветлый Иван Семенович.

– Не бойся, Игнатий. Вон какая крепость у нас! Несколько тысяч московских и астраханских стрельцов, да татарские мурзы со своими отрядами. Пороха, пуль, пушечных ядер у нас вдосталь. Отсидимся, пока подмога придет, – успокоил дьяка воевода.

– Однако! Стрельцы-то ропщут, злоствуют на нас за то, что уже несколько месяцев денег им за службу не даем.

Воевода вспылал:

– Я им покажу деньги! Где я их возьму, если Разин ни одной лодки на Астрахань не пропустил! Пусть Стеньку разобьют и возьмут у него свои деньги!

– Боюсь я, Иван Семенович, что, вместо того чтобы разбить Разина, они с ним договорятся вместе воровать.

Князь-воевода насупился, стал нервно одергивать кафтан, сел в кресло и распорядился:

– Прикажи, Игнатий, стрельцким начальникам и иноземцам через час собраться в приказной палате. И вели согнать городских жителей и посадских чинить стены, чистить рвы.

– А как же с жалованием стрельцам? – спросил дьяк.

– Батогов им, а не жалования, – резко ответил Прозоровский. – А кто будет настойчиво просить жалование за службу, бить нещадно!

Уже после обеда на стенах крепости, на земляных валах и во рвах закипела работа. Везде копошились люди. Одни несли камни для ремонта стен, другие копали землю, чистили рвы, подсыпали земляной вал. Работные люди, особенно посадские, были угрюмы и лишь изредка перебрасывались между собой соленым словцом или с оглядкой говорили:

– Видно, держит слово атаман! Идет радетель и защитник наш вызволять народ от лиходеев и непосильного труда!

– Идет-то – идет, а мы вон крепость против него готовим, – угрюмо ответил другой мужик, кладя камень в обвалившуюся стену.

– А ты в раствор поболее песочка положи, чтобы она не так крепка была, – посоветовал кто-то из работающих.

– Ага, попробуй положи, вон иноземец-мастер ходит, сразу же распознает, что много песка, и велит до смерти забить батогами.

Среди горожан и стрельцов, работающих на укреплении города, мелькают неведомые люди в стрельцких кафтанах. Они втираются в ватаги тружеников и подолгу с ними говорят. Озираясь по сторонам, люди возбужденно о чем-то беседуют, а завидев идущего приказчика или чужеземца-надсмотрщика, старательно принимают за работу. Чувствуется, что бурлит среди простого народа и стрельцов ненависть к воеводе и его помощникам. Злоба людская молча копится, наливается силой, разжигается в душах разинскими посланниками. Вспоминаются горькие обиды, причиненные воеводой и начальниками. Нарастает гнев людской, бурлит в душах, как молодая брага, ищет выхода и когда-нибудь, не найдя его, вышибет все преграды на своем пути, разольется с силой, и тогда уже ничем его не удержать, пока не перебурлит, не перебродит.

К вечеру Иван Семенович, возвращаясь к себе в приказную палату, где он намеревался отдать кое-какие распоряжения по охране города, отметил, как много сделано: отремонтированы стены, прочищены рвы, приготовлены запасы съестного и оружия в десяти башнях и каменном кремле крепости. Ловил воевода на себе взгляды богатых купцов и горожан города, полные надежд. И от этого еще крепче росла у князя в душе уверенность в себе. Он твердо знал, что Разину города не взять. Уж он-то теперь этого вора от Астрахани не отпустит, найдет способ заманить этого проклятого казака в ловушку и покончит с ним навсегда!

В приказной палате князя ждал астраханский митрополит Иосиф. При виде него Прозоровский почему-то робел, ему становилось не по себе от пронзительного, умного взгляда священника. Князю всегда казалось, что тот всё про него знает или хотя бы догадывается. Иван Семенович приложился к руке Иосифа, пригласил сесть на лавку. Митрополит поставил деревянный посох в угол палаты, живо огляделся, потом перевел взгляд на воеводу и с интересом спросил:

- Готов ли ты, Иван Семенович, отразить врага от города?
- Готов, батюшка. И думаю, что обязательно побьем воров здесь!

Митрополит задумчиво покачал головой, молча погладил седую бороду, хотел еще что-то сказать, но с улицы раздались крики:

- Воевода, выйди на крыльцо! Воевода, выдай нам деньги за службу!

Прозоровский побледнел, лицо покрылось красными пятнами. Он выхватил саблю, кинулся было на улицу, но услышал сзади себя властный окрик митрополита: «Назад!»

Князь резко остановился, швырнул в злобе саблю в угол палаты, медленно подошел к Иосифу.

- Воевода, выдай деньги! Детишки голодом сидят! – неслись крики с улицы.
- Надо выдать деньги стрельцам, – властно сказал Иосиф.

Прозоровский подскочил к митрополиту, закричал:

– Где я им, сволочам, денег возьму! У меня их нет, а из Москвы, сам знаешь, нынче караван с хлебом и жалованием не пришел.

– Выйди, воевода, к стрельцам, поговори с ними поласковее. Пообещай завтра жалование. Дам я тебе 2000 рублей, вернее, даст Троицкий монастырь, а потом, как придет жалование, вернешь. Иначе город защищать некому будет. Постарайся, князь, перед стрельцами гордыню унять.

Когда Прозоровский вышел на крыльцо приказной палаты, то увидел множество стрельцов. Их угрюмые и злобные лица его пугали.

- Дети мои! – крикнул в толпу воевода.
- Ишь, отец сыскался, чуть с голоду не уморил! – крикнули из толпы.

Воевода попытался по звуку голоса понять, кто это крикнул. Но где там, среди общего шума и гама определить было невозможно.

– Дети мои! – опять крикнул Прозоровский. – Жалование вам не давали потому, что перехватил караван с хлебом и деньгами вор Стенька Разин. Вот разобьете его, тогда все вам будет.

Толпа некоторое время молчала.

– А зачем нам с ним биться? Он всем обездоленным спаситель и радетьель! – крикнул кто-то из стрельцов.

– Деньги получите завтра! – ответил воевода. – Завтра с утра приходите. Только уж, ребята, не пожалейте живота своего, стойте за дело государево, не слушайте вора, а как разобьете его, еще вдвое больше получите!

Стрельцы на слова воеводы не проявили радости, тихо поговорили между собой, затем стали молча расходиться. Кто-то нарочито громко сказал:

- Вытрясли наши денежки из воеводы!
- Ничего, как Стенька придет, мы из него и все остальное вытрясем, – ответил другой стрелец.

От этих слов Прозоровскому стало не по себе. Самоуверенность с него как рукой сняло. И впервые за все время подумал: «Надежды на таких защитников мало! Надобно спешно создавать полки из иноземных купцов, дворян и всякого надежного богатого люда, пусть свое добро сами защищают».

Войдя в палату, он застал митрополита в той же позе, в какой и оставил. О чем-то крепко задумался Иосиф. При входе Прозоровского он встал и, тяжело ступая, сильно опираясь на изукрашенный резьбой посох, подошел вплотную к воеводе:

– Господь Бог нам поможет в нашем деле против вора! Но с этими стрельцами нам его не побить. Хотя бы пересидеть до подхода из Москвы стрелецких полков. За подмогой-то послал в Москву?

- Послал.
- Тогда будем ждать, – и, перекрестившись, Иосиф медленно, шаркающей старческой походкой двинулся из палаты.

Базарная площадь в Астрахани была необыкновенно многолюдна. Среди лавок и торговых рядов сновал астраханский народ. Люди то собирались в кучки, о чем-то жарко споря, то слушали кого-то, а

завидев стрелецкое начальство или истцов воеводы, быстро, с деловым видом расходились в разные стороны.

Вся Астрахань знала, что Степан Тимофеевич идет к городу, чтобы освободить бедноту, дать ей волю. Народ жаждал услышать новое об атамане: далеко ли он от города, много ли с ним людей?

Вот чернобородый мужик с крючковатым носом, сухощавый пристроился в тенечке под деревом, неторопливо ведет рассказ о взятии Разиным Черного Яра:

– Подошел Степан Тимофеевич под стены города, глянул соколом, взмахнул сабелькой, крикнул: «Кто готов служить мне и государю нашему, хватайте стрелецких начальников и воевод, открывайте ворота! Идите ко мне служить, а я вас не обижу!» Недолго пришлось атаману стрельцов уговаривать. Открыли они ворота и строем со знаменем перешли к Разину. Видя это, князь-воевода Львов тоже стал служить атаману.

– Неужто правда, что Львов к атаману служить перешел? – спросил стрелец из окружившей мужика толпы.

– Вот те крест! – и мужик истово перекрестился, повернувшись в сторону служилого. – Сам видел!

– Вчера, рассказывает народ, будто прибежали от Черного Яра десять стрельцов, упали они нашему воеводе в ноги, просили пощады, а тот велел отдать их под арест. А сегодня утром обнаружили, что нет ни этих прибежавших стрельцов, ни стражи, – рассказал служивый.

– Наверно, атаман вызволил. Сказывают люди, будто он колдун, – в страхе и озираясь по сторонам, негромко произнес неплохо одетый горожанин, по-видимому, приказчик.

– Да убегли они вместе со стражей! Причем тут колдовство? – крикнул высокий, улыбчивый парень, который стоял рядом с коренастым, угрюмым мужиком. Прожженные кожаные фартуки говорили о том, что это мастеровые-кузнецы. Угрюмый мужик то и дело удерживал молодого мастерового, говоря ему:

– Да тише ты, Петька, неровен час, истцы воеводы услышат, ведь в тюрьму посадят!

Молодой кузнец отмахивался от угрюмого, отвечая:

– Все равно Степан Тимофеевич вызволит! Пусть сажают.

На базаре стоял гул голосов. Лавочники, приезжие гости на разных языках зазывали к себе народ, наперебой хваля свои товары. Суетились крамарки, перебивая друг друга:

– Берите пирожки горячие, с мясом!

– А вот пироги с луком, дешевые, вкусные!

Вдруг раздался резкий свист, затем кто-то крикнул:

– Берегись, честной народ, иноземец Бутлер идет!

Собравшиеся около мужика люди вмиг растворились в толпе.

Только один остался под деревом, тот, который вел рассказ о Разине. Но и он неузнаваемо преобразился, прикинулся убогим. Подобрал под себя ногу, скривил руку и, лихорадочно трясясь, загнусавил:

– Подайте милостыню нищему и убогому!

Мастеровые, высокий улыбчивый парень и хмурый кузнец стали поодаль у дощатой лавочки и тихо разговаривали между собой.

– А кто это с Бутлером рядом идет? – спросил молодой кузнец.

– Это иноземец Бейли. Говорят, что воевода Бутлеру и Бейли поручил взять в свои руки оборону города и дал им чины полковников. Видно, своим не доверяет.

Два иноземца шли посреди базарной площади в окружении солдат, поднимая пыль своими высокими ботфортами. Люди понуро, со злобой, глядели на них и молча расступались.

– Наверно, к стенам пошли смотреть, как идет там работа, – процедил сквозь зубы хмурый кузнец.

– Надобно бы уйти с глаз, а то увидит нас, будет орать: «Пошему не на работа?!» – комично передразнил высокий молодой кузнец.

Но не успели мастеровые спрятаться в толпе, как Бутлер подскочил к хмурому кузнецу, сунул ему под нос кулак в перчатке и заорал:

– Пошему не на работа?!

– Пошел ты... – выругался кузнец и с силой кулаком ткнул Бутлера под бок. Тот зашелся истошным криком:

– Ловите вора! – но мастеровые вмиг скрылись в толпе. Напрасно бегали солдаты по базару, ища виновных – их и след простыл. Люди с рынка стали разбегаться. Лавки закрылись. А из-за углов и из закоулков вслед солдатам раздавались крики:

– Погодите, сволочи, придет наш Степан Тимофеевич, за все с вами посчитаемся!

\* \* \*

В приказной палате во главе с Прозоровским собрались: его брат воевода-стольник Михаил Семенович, митрополит Иосиф, иноземные полковники и подполковники, богатые купцы и горожане Астрахани. Все с надеждой смотрели на воеводу, ждали, что он скажет. Князь же с лица осунулся, весь как-то ссутулился, самоуверенность с него спала, в лице не было властности. Выглядел он растерянным и всем своим видом не внушал прежней уверенности.

Воевода медленно встал, обвел всех взглядом, заговорил дрогнувшим голосом:

– Злой враг на нас идет с большими силами! Придется нам постоять за себя. Но плохо то, что народ астраханский, особенно гольтьба, посадские и многие стрельцы взбунтовались, и на них надежды никакой нет! Все ворота нужно завалить землей, чтобы бунтовщики не смогли их открыть ворам.

Среди присутствующих сначала прошел гул голосов, потом он стал громче, и все заспорили.

– Подождите, я еще не все сказал, – властно перебил всех Прозоровский.

– Податься нам некуда: сзади море, впереди Разин. Связи с Москвой нет. Хотя я и послал за помощью, да, видно, не дожидаться нам ее. Придется постоять за себя самим. Подмоги ждать неоткуда!

Не успел воевода закончить свою речь, как на крыльце приказной палаты раздался шум и в дверь ввалился запыхавшийся стрелецкий сотник:

– Войска Разина подходят к Астрахани. Заняты Толоконные горы!

С улицы послышался удар колокола. Все пососкакивали со своих мест и, толкая друг друга, ринулись к выходу, выскочили на крыльцо, поспешили на крепостные стены. Колокола беспрестанно били тревогу, собирая защитников.

И вот уже с Толоконных гор ударили пушки и пищали казаков по крепостным стенам Астрахани. Засвистели ядра и пули, вводя в смятение защитников города и воеводу. Во всех церквях Астрахани начался молебен. Попы молились Богу, просили освобождения от вора Стеньки Разина. Истово клали церковные служители поклоны иконам, просили Всевышнего смилостивиться над несчастными и помочь.

А в это время по реке к Астрахани стало подплывать, заполняя реку и пристань, несметное количество лодок и насадов Разина. Завидев на стенах стрельцов и астраханских жителей, разинцы замахали им руками:

– Эй, честной народ, айда к нам служить! Батько за это вас жаловать будет, а от толстобрюхого воеводы и его начальников вы ничего не дождетесь, кроме батогов.

Воевода Прозоровский находился на стене и, пристально наблюдая за разинцами, прикидывал: «Видно, Разин сегодня штурмом на город не пойдет». Исподтишка поглядел на своих пушкарей, которые с интересом, без всякой злобы, смотрели на казаков. «Сволочи!» – прошептал он.

Казаки же отошли за версту от города и станом расположились на песчаной отмели.

Вскоре к крепостной стене подплыла небольшая лодочка, в ней сидело два человека. Иван Семенович Прозоровский с интересом стал наблюдать за ними – не переговоры ли Разин решил учинить?

А лодка между тем подошла к берегу, из нее вышли оба: один в одежде попа, другого воевода никак не мог разглядеть, но больно знакомой была фигура и внешность этого человека.

– Где воевода Прозоровский? – крикнул поп.

– Позовите воеводу! – крикнул другой.

– Слушаю вас, говорите! – с неохотой отозвался князь.

– Степан Тимофеевич просит тебя не лить понапрасну кровь народа, а сдать город подобру. За это атаман жалует жизнь, а если начнешь кровопролитие, будет тебе, воевода, смерть!

От этих слов Иван Семенович побледнел. Подозвал к себе дьяка Игнатия, который крутился тут же, велел:

– Немедленно схватить этих воров и привести ко мне!

Дьяк побежал выполнять волю воеводы.

Посланники Разина долго ждали ответа от боярина, переминаясь с ноги на ногу.

Вдруг ворота города отворились, и к посланцам побежали стрельцы.

– Бежим! – крикнул поп и, путаясь в рясе, что есть духу помчался к реке. Вот уже рядом берег, лодка. Беглецы прыгнули в неё, но не успели отчалить, как на них навалились стрельцы, заломили им руки и поволокли в город.

Посланников притащили на площадь, где уже стоял Прозоровский, и бросили у его ног.

– Попа посадить в острог! – властно приказал воевода. – А этого поднять на дыбу и вести спрос.

Когда разинца подняли на ноги и стали привязывать руки к перекладине, Иван Семенович вдруг

узнал в нем слугу князя Львова.

«Видно, правду донес извечник, что князь перешел к Разину, раз слугу сюда послал», – и тут же зашелся в злобе на Львова, подскочил к уже поднятому на дыбу посланцу и закричал:

– Говори, где князь Львов!

Посланник молчал. Несчастливого подняли выше на перекладине, лопатки его сошлись на спине, затрещали суставы, лицо исказилось от боли, пот крупными каплями покатился со лба по лицу. Он застонал, заскрежетал зубами, но молчал.

– Сколько людей у вора? Сколько пушек? Есть ли свои люди у Разина в городе, и кто они? – задавал вопрос за вопросом воевода, не дожидаясь ответа. Голос его дрожал и срывался на крик.

Посланник молчал, стонал от боли, когда жгли пятки огнем. Вскоре пытанного в беспамятстве бросили на землю, так и не добившись от него ни слова.

Взбешенный Прозоровский затопал ногами, визгливо закричал:

– Повесить его на Никольских воротах! – а сам, круто развернувшись, заспешил к себе в приказную палату.

Астраханский народ молча расступился, пропуская воеводу. Кто-то крикнул:

– Сволочь!.. Войдет атаман в город, тебе то же самое будет!

Прозоровский резко остановился, сжав кулаки, затем схватился за саблю, пошел на толпу астраханцев, которая, не дрогнув, молча ждала его. И могло бы случиться непоправимое, но воевода вдруг опомнился, остановился и обратился к Бутлеру, который семенил за ним:

– Разогнать всех! Пусть идут на стены да защищают их от врага!

Злые и угрюмые, горожане расходились по своим углам, на ходу договариваясь побить воеводу и его людей.

## 10

В этот вечер Анна Герлингер чувствовала себя беспокойно. Неведомый червяк точил ее душу. Прозоровский у нее уже давно не бывал. Обремененный заботами по защите города, даже встретив ее как-то на улице, не заметил. Увидев его расстроенное, без уверенности и надменности лицо, Анна поняла, что город обречен. Это подтверждалось тем, что она видела и слышала. Горожане ругали воеводу и его начальство. Кругом думали и говорили о том, как помочь Разину войти в город. Хотя истцы и верные воеводе стрельцы неустанно рыскали по Астрахани, вылавливая ненадежных людей, число взявших сторону атамана с каждым часом росло.

Анна была в смятении. Раньше она твердо верила в непоколебимую власть воеводы. А тут... Неоднократно задавала себе вопрос: почему воевода боится Разина? Ведь у него в руках сильная крепость, множество пушек, огромное войско. Женщина изучающе всматривалась в лица горожан, стрельцов и чувствовала: они ждут Разина. Все будут рады гибели воеводы и его ближних людей.

Женщина металась из угла в угол и мучительно гадала: «Неужели Разин возьмет город? Неужели все кончено с ее так хорошо налаженной, легкой и вольготной жизнью? Ворвутся в ее дом разинцы, грязные мужики, и будут хватать, тащить, разрушать с таким трудом налаженное ею счастье. И в то же время она знала, что с приходом Разина вернется и ее любимый друг, Красулин Иван. Вспомнив об Иване, Анна радовалась скорой встрече, и ее сердце ныло в сладкой истоме.

Сумерки сгущались, наступил глухой вечер, вечер одиночества и мучений. Вдруг густую, неумолимо наступающую тьму огласили звуки набата. Колокола звонили тревогу, гулко, надсадно звали на стены защитников города. Анна выскочила на крыльцо, прислушалась. Со стороны Вознесенских ворот было видно зарево и слышался сильный шум тысячи голосов, иногда раздавались выстрелы из пушек и пищалей. Недолго думая, Анна обрядилась в грубую одежду простого горожанина, сунула за пояс два заряженных пистолета, подобрала под казацкую баранью шапку свои красивые черные волосы. Она взяла длинный кинжал, долго смотрела на его холодно мерцающую сталь, потрогала острое лезвие и, не выпуская его из рук, вышла на улицу. Анна еще не знала, что она будет делать и куда пойдет, чью займет сторону. По тесной улице кругом сновали люди. Одни собирались в небольшие кучки и о чем-то жарко спорили, другие уходили к стенам города. Женщина остановилась, огляделась, размышляя, куда же ей податься. Но вот с южной стороны городской стены, по улочке, хлынули люди. Они бесконечным потоком растекались по городу. Большая их часть двигалась к Вознесенским воротам. Вглядевшись в этих людей, Анна с ужасом поняла, что это идут разинцы. Совсем воевода потерял голову, опытного воина Разин обвел, как мальчишку.

Пока небольшая часть войска Разина шумела у Вознесенских ворот, отвлекая воеводу, большая часть казаков с южной стороны города вошла в Астрахань.

В нерешительности Анна затопталась на месте, у нее даже появилось желание вернуться домой, закрыться и отсидеться до утра. Но тут к ней подошел могучий детина:

– Эй, казачок, что это ты тут топчешься на месте? Айда воеводу бить! Вот потеха будет! – и потянул Анну за кафтан. Ей ничего не оставалось, как поспешить за могучим казачком.

Ночь выдалась темная, путь освещался факелами да заревом горевших костров, в больших котлах грели кипятки и смолу, чтобы лить на разинцев.

– Ты откуда будешь? – спросил казак.

Анна молчала, не зная, что ответить.

– Что молчишь-то, казачок? – детина повернул голову в сторону женщины, пристально взгляделся в ее лицо и медленно проговорил: – Что-то я тебя первый раз вижу!

– Я недавно с Дону, – нашла с ответом Анна.

– А кто же у тебя есаул-то? – опять спросил казак.

Анна молчала, лихорадочно думая, что же ответить казаку, и все же сообразила:

– У Ивана Красулина я.

– Хороший есаул! – восторженно ответил детина, затем предупредил: – Ты, казачок, поберегись, как бы шальная пуля не задела, а то уже подошли к Воздвиженским воротам.

Анна огляделась и увидела, что воеводу с его людьми оттеснили от Воздвиженских ворот. Отчаянно сопротивляясь, они отступали к собору, надеясь там укрыться.

Казачки наседали со всех сторон. Прозоровский лихо рубился саблей, так что казаки боялись подступить к нему. Анна видела, как воевода и его брат Михаил, став спиной к спине, отбивались от наседавших разинцев. Вдруг прозвучал выстрел из пищали, Михаил дрогнул и медленно повалился на землю. Прозоровский кинулся к нему, но в это время кто-то из казаков нанес удар пикой ему в живот. Тот охнул и повалился рядом с братом. Верные воеводе стрельцы подхватили Прозоровского под руки и укрылись за стенами собора, закрыв за собой чугунные ворота и завалив их бревнами и камнями.

Пораженная этим зрелищем, Анна затряслась как в лихорадке.

– Э, казачок, ты что трясешься? Никак забоялся? – улыбаясь, спросил детина.

В это время к ним подошли Красулин и Данило. Иван спросил:

– С кем это ты, Ефим, тут разговариваешь?

– А вот твой казачок ко мне прибил.

– Какой это?

– Да вот же, – и Ефим указал на Анну.

Красулин пристально взгляделся в ее лицо, широко улыбнулся, узнав Анну, но ответил:

– И правда, мой казачок. В такой темени немудрено и потеряться.

Данило тоже подошел к Анне, узнал ее, затем шепнул на ухо:

– Вот так-то! Мы твоих бояр да воевод коленом под зад!

Анна молчала, прикусила губу, боясь сорваться и заплакать.

– Айда, казаки, иноземцев бить! – крикнул пробегающий казак. Все направилось в сторону башни. Когда женщина и ее спутники подоспели к укрытию, в котором засели полковники Бейли и Видерос с немецкими солдатами, казаки уже вытеснили их оттуда и прижали к крепостной стене. Шла ожесточенная, жаркая рукопашная схватка. Был слышен только лязг сабель. Иноземцы падали один за другим, сраженные лихим сабельным ударом, метким выстрелом из пистолета или пищали. Последним пал Видерос. С немцами было покончено. В двух башнях засели голландцы да персидские люди, но и они пали, когда кончились заряды.

Анна видела вокруг ожесточенную борьбу, отчаянное сопротивление людей Прозоровского и напористое наступление разинцев.

В эту ночь в душе у женщины произошло большое смятение, все ее ранние помыслы и думы как бы перевернулись, перемешались. Ее неудержимо влекло в водоворот борьбы, ее звало новое, еще не понятное ей, и где-то, в сознании, это новое не вязалось со старым, которого было жаль. Оно было беззаботно и уже отлажено, а казаки несли новую беспокойную жизнь. Анна понимала, что эта большая борьба только начинается. И к чему она приведет? Что их ждет? Она твердо знала: воеводы эту ночь Разину никогда не простят.

Ударили пушки пять раз подряд, давая сигнал повстанцам о том, что город взят. Казаки и горожа-

не заспешили на соборную площадь. Гольтьба шныряла по всем закоулкам города, проникала в дома богатеев, волокла начальников, купцов на людской суд.

На соборную площадь Степан Разин явился в окружении ближних есаулов: Якушки Гаврилова, Фрола Минаева, Василия Уса, Федора Сукнина. Все были возбуждены, но в хорошем настроении. Несмотря на то что взлохмачены бороды, кафтаны в схватке подраны, кое у кого были перевязаны раны, но это есаулов не смущало. Они сегодня стали победителями. Атаман подошел к собору и крикнул:

– Здесь укрылись наши враги и государевы изменники, надобно их оттуда выбить!

Толпа казаков, стрельцов и горожан бросилась к воротам. Казаки стали бить бревном по чугунной решетке, но ворота не поддавались.

– Прикатить пушку! – потребовал Разин.

Вскоре доставили большое орудие, направили на ворота. Прозвучал выстрел, и решетка ворот разлетелась в куски. Вооруженная толпа с криком ворвалась в собор.

Ближние люди воеводы, оцетинившись саблями, бердышами и пиками, плотным кольцом окружили Прозоровского. Казаки разбросали людей воеводы, подступили к боярину. Тот, раненый, с бледно-серым лицом лежал на ковре, полузакрыв глаза. Попытался встать, но, застонав, упал. Разинцы выволокли князя на соборную площадь и бросили к ногам атамана.

Разин впился глазами в Прозоровского, думая: «Вот он, гордый воевода, гроза простого народа, теперь валяется у моих ног, ослабленный и беспомощный от раны, но смотрит дерзко и непокорно!»

Превозмогая боль, Прозоровский все же поднялся и встал рядом со стрелецкими начальниками, которые небольшой толпой стояли в кольце повстанцев, ожидая своей участи.

– Смерть воеводе! – кричали из толпы.

– Бросить мучителя с раската!

– Казнить воеводу! – с ненавистью требовал простой народ. Некоторые бросились на него с пиками, чтобы тут же заколоть, но Разин запретил:

– Не трогать!

Толпа отступила.

Атаман медленно подошел к Прозоровскому, остановился против него. Повстанцы затихли, с напряжением следя за тем, что же предпримет Разин. Но Степан не спешил: он долго, изучающе смотрел на воеводу. Взгляд у князя был по-прежнему дерзок, и это раздражало Разина. Он подумал: «Видно, боярин смерти не боится».

Атаман сделал знак воеводе, чтобы тот поднимался на раскат.

Медленно, очень медленно шел воевода.

Анна, не отрываясь, смотрела, как воевода и атаман поднимались. Она понимала, что минуты жизни воеводы уже сочтены, что видит боярина в последний раз. Ее терзало смешанное чувство. Ей было жалко Прозоровского, но где-то в подсознании ее радовал этот исход. Душа ее жалела и злорадовывалась одновременно. Наконец атаман и воевода поднялись на раскат. Толпа, затаив дыхание, следила за ними. Все знали: сейчас свершится непоправимое, и после этого они будут все связаны, как посягнувшие на власть.

Было видно, что Разин что-то говорил воеводе. Тот качал головой, от чего-то отказываясь. Боярин медленно пятился к краю раската, а атаман старался придержать его рукой за кафтан, как бы стремясь удержать от непоправимого поступка, горячо его убеждая.

Вот уже воевода у самого края. Он осмотрелся, поглядел долгим взглядом вниз. Затем оттолкнулся ногами о край раската и полетел вниз головой. Раздался глухой стук тела о землю. Толпа ахнула и замерла. Разин уже спустился вниз, подошел к телу воеводы, а люди продолжали молча стоять, боясь подойти к уже погибшему их мучителю, грозе Астрахани.

В этот год лето в Москве выдалось знойное. Днем поднималась сильная жара, и стоял нестерпимый зной, особенно, в полдень. Солнце нещадно палило, загоня людей в тень. Московские дороги пересохла, истолченные множеством людских ног, лошадиных копыт и колесами телег, превратились в пыль. Она поднималась высоко в воздух и стояла над городом. От этого небо было бледно-голубое.

Лишь только ночью пыль оседала, и к утру наступала свежесть и легкая прохлада.

Долгорукий в эту ночь спал плохо, в опочивальне было душно. Боярин несколько раз за ночь вставал, метался по спальне. Открыл створчатое окно, вставленное цветными стеклами. Но на улице даже

не чувствовался ветерок: было душно. Тяжело дыша, Юрий Алексеевич кликнул дворецкого. Вскоре тот появился, заспанный, с всклокоченной бородой, широко зевая, спросил:

- Что изволите, батюшка?
- Принеси-ка холодного меда.

Дворецкий молча повернулся и поспешил исполнять желание хозяина.

Напившись, Долгорукий немного успокоился. Открыл еще одно окно и, сделав сквозняк, облегченно вздохнул. В широкую пуховую постель лечь не хотелось, там было жарко. Князь постелил на лавку узорчатое покрывало, прилег, закрыл глаза, пытаясь уснуть. Но сон не шел. Хмельной мед приятно согревал и кружил голову. Тревожные мысли, бушевавшие князя все это время, отступили. Пришедшее вчера известие могло свести с ума хоть кого. В присланной с гонцом грамоте из Казани говорилось о взятии Разиным Царицына и Астрахани. Князь не знал, как обо всем доложить царю. Он просто боялся говорить об этом Тишайшему, хотя его положение при дворе было как никогда крепким, чему немало способствовало замужество его дочери за сыном стольника Василия. Дмитрий оказался милым молодым человеком, произвел хорошее впечатление на дочь Долгорукого и, как заметил князь Юрий, молодые поладили, стали жить в мире и любви. «Да и пусть живут, коли друг дружке подходят», – думал князь. Хотя их счастье стоило ему немалых денег, но он выиграл, сохранив при дворе царя свое прежнее положение.

Получив грамоту от казанского воеводы о мятежниках, Долгорукий с докладом к царю не спешил, надеялся, что Алексей Михайлович сам обо всем узнает, а он за это время обдумает, как держать ответ перед Тишайшим. Князь понимал, что гнев царя будет немалым, и готовился к этому. Надо устоять: Алексей Михайлович – человек вспыльчивый, но отходчивый.

«Чтоб эти казаки там сгнули! Нет им ни уему, ни покою, и мутят, и мутят воду! – в сердцах думал князь... – Теперь вот оправдывайся из-за них перед царем! Однако вор сильно поднял голову. Заставил домовитых замолчать на Дону и весь водный путь по Волге захватил. Что делать? Как с этим Разиным сладить? Видно, придется посылать к Самаре и Саратову стрелецкие полки, гонцов к воеводам Юрию и Даниле Борятинским, чтобы поторопились и встали на пути казаков. Хоть и доносили извечки, что казаки собрались в персидский поход, но не верится. А Астрахань они, видно, взяли для того, чтобы сзади не было врагов. Хитер атаман и опытен в ратном деле. Готовится вор к большому походу – только не в Персию, а в Россию. По всему видно, что готовится, но вот где сосредоточит полки, трудно узнать. Сколько уже извечкиков было послано к Разину, все сгнули или присылали грамоты – только бестолковые: в них не говорилось, куда решил идти атаман. Умеет Разин хранить свои думы, не доверяет их никому».

Наступил рассвет, в окно потянуло прохладой. Спать князю больше не хотелось, он выглянул в окно, поглядел на занявшийся бледный рассвет, почувствовав ломоту в ногах, с радостью отметил: «Однако погода скоро изменится, будет дождь. Хоть бы дал господь! А то уже из поместий сообщили, что хлеб сохнет, и если такой зной простоят еще одну-две седмицы, быть в этом году без урожая. А это опять голод по Руси. И тогда вовсе народ взбунтуется. Хоть бы дал господь дождя!»

\* \* \*

Сегодня Юрий Алексеевич решил поехать с докладом к царю, посоветоваться с ним, что же предпринять против Степана Разина. Из опочивальни князь направился во двор. Там уже кипела работа. Дворовые мужики ладили новые амбары под хлеб и другие припасы. Плотники сидели верхом на бревнах и ловко вырубали пазы и углубления на углах для кладки нового ряда. Другие постукивали деревянными молотками о ручки деревянных лопаточек, конопатили мхом щели между бревнами.

Боярин медленно продвигался вдоль стены амбара, но придаться было не к чему: мужики работали усердно. Он прошел в хозяйственный двор. Здесь тоже царило оживление. Женщины начинали утреннюю дойку. Одни уже доили коров, другие сливали в деревянные бочки молоко, третьи снимали настоявшуюся сметану. Несколько молодых девок сидело на деревянных лавках. Между ног у них были зажаты длинные, узкие деревянные сосуды маслобойки с деревянной палкой, которую они ритмично поднимали и опускали или крутили. Молодые, круглолицые, розовощекие девки весело пересмеивались, сбивали масло, одна из них что-то тихонько пела. Завидев князя, они смолкли, потупились, боясь взглянуть на Долгорукого.

Князь заглянул в бочку, куда складывали сбитое масло, сунул палец, зацепив кусочек, взял в рот, причмокнув языком, сказал: «Хорошее маслице! Подсолить его надобно, чтобы не портилось, да в

погреб, на лед, отправить». К боярину подошла ключница Авдотья: дородная женщина, на редкость подвижная, улыбчивая. Ее черные глаза искрились жизнерадостностью и задором. Она поднесла князю крынку с парным молоком. Тот медленно, со вкусом, иногда отрываясь для беседы с женщиной о хозяйственных делах, пил теплое молоко.

На Авдотью князь никогда не сердчал. Не мог он устоять против ее жизнерадостности и задорной улыбки. Меж дворовых баб поговаривали, будто в молодости князь с Авдотьей близки были и будто была меж ними любовь. Говорили всякое, да толком никто ничего не знал. Только видели все, что Авдотья у князя могла выпросить что угодно и постоять за дворовых девок и женщин, не дать их в обиду.

Обойдя двор, князь решил ехать к царю. Он долго собирался, захватил с собой грамоты, присланные из Казани. Наконец вышел на крыльцо, у которого его уже ждали оседланная лошадь и сопровождающие слуги. Гнедой жеребец застоялся и нетерпеливо перебирал ногами, стриг ушами, косил дикие глаза, всхрапывал.

Несмотря на свою грузность, Долгорукий легко вскочил в седло и направил коня в ворота, которые уже были отворены слугами, стоявшими в поясном поклоне.

В кремлевском дворе царило оживление. Сегодня намечался большой прием в Грановитой палате.

Не успел князь Юрий поставить своего коня, как к нему подошел стольник Василий, ласково поздоровался, шепнул:

- Алексей Михайлович все знает о делах вора. Подготовься.
- Что он говорит? В духе ли? – задал один за другим вопросы Долгорукий.
- В духе! В духе, – обнадежил Василий. – Вчерась с Натальей Кирилловной у них примирение вышло. Две седмицы не разговаривали. А теперь все у них ладится. Так что гроза будет небольшая.

Князь Юрий подумал: «Как хорошо все-таки, что при дворе есть свои люди!»

С того давнего, неприятного разговора прошло немало времени, и они поладили между собой. Князь Василий оказался умным человеком и дальновидным политиком, и это во многом помогало Долгорукому, это его ставило выше других. Он почувствовал уверенность в себе.

Прием длился долго и нудно, Долгорукому уже стало казаться, что он никогда не кончится, но вот царь встал, и бояре стали расходиться. Князь Юрий топтался на месте, не решаясь сразу подойти к Тишайшему, но увидел, что стольник Василий уже что-то шепчет царю на ухо, а тот, улыбаясь, кивает головой. Затем царь поманил князя к себе. Долгорукий быстро подошел к Алексею Михайловичу, согнулся в поясном поклоне.

Для решения важных государственных дел царь и его бояре перешли в Крестовую палату. Здесь было уютно. Теплый цвет мебели и ковров – от розового до темно-коричневого – располагал для беседы.

Когда бояре чинно расселись по лавкам, царь, чуть пристукнув тяжелым посохом об пол, громко и выразительно изрек:

- Бояре мои, пришла беда!

Все присутствующие зашумели, заговорили. Царь еще пристукнул посохом и, дождавшись полной тишины, повторил:

– Беда пришла! Восстали наши холопы! Взяли уже два больших города на Волге – Царицын и Астрахань. Вор Стенька Разин оказался хитрым и опасным врагом, а народ идет за ним. Открывают люди ему городские ворота, впускают в крепости, предают своих воевод! А все из-за того, что вор все захваченное раздаст холопам.

- Он знает, чем людишек можно взять! – громко сказал князь Никита Одоевский.
- Что же теперь нам тоже все раздавать людям?! – злобно крикнул князь Милославский, повернувшись всем своим телом в сторону Одоевского.

– Это я к слову сказал. Никто, конечно, не собирается их задабривать, но силу мы против этого сброда должны выставить, – ответил Одоевский.

Царь молча слушал спор бояр. Затем встал и властно произнес:

– Мой указ будет таков, бояре. Немедленно собрать полки стрельцов и иноземцев и направить их к Казани, дабы прикрыть путь изменникам на Москву. Сегодня же разослать грамоты по городам – с указом о сборе дворянских полков! Не подчинившихся указу – казнить! – и, обратившись к патриарху Иосифу, сказал: – Вора Стеньку Разина проклясть по всем церквам, наложить на него анафему, чтобы веры у людей в него не было.

## 12

Короткая летняя ночь тянулась для Степана бесконечно долго. После взятия Астрахани погуляли казаки немного за победу, и после обильной гульбы у Степана на душе было пусто, тоскливо и стыдно перед самим собой за те дела, которые он натворил во хмелю.

Атаман пытался заснуть, но не мог. Стоило ему лишь раскрыть глаза, как перед ним вставало лицо Прозоровского – строгое, надменное, затем его сменяли лица его детей. Старшего – Бориса, который смотрел на него исподлобья, и плаксивого маленького.

В тот день, когда приволокли к нему воеводских детей, Степан гулял с ближними казаками в доме воеводы Прозоровского.

Старший сын воеводы стал высказывать атаману гневные слова:

– Вор! Изменник государев! Погоди, будешь ты за все дела свои висеть на дыбе, когда придут сюда верные государю стрельцы!

Вскипел тут атаман, затопал ногами, в ярости схватился за саблю. Но удержали его есаулы от страшного поступка.

Тогда, в бешенстве, приказал Степан подвесить княжеских детей за ноги на ворота.

Уже к вечеру пришел просить за детей воеводы астраханский митрополит Иосиф. Степан тут же приказал снять боярских детей с ворот. Но потом выяснилось, что старший воеводский сын стал на казаков ругаться, грозить, мало того, плюнул в лицо Леске Черкашину, а тот, не задумываясь, велел сбросить его с раската, а маленького отдать матери.

Тут же к нему явился князь Львов, и между ними состоялся довольно острый разговор:

– Опомнись, Степан! Что ты наделал, зачем невинных детей мучить?! Что они тебе сделали?

– Смотрят на меня как волчата! А старший – Борис – грозить взялся! Вот я и решил их немного проучить, сбить с него спесь! – стал в оправдание почти кричать Разин.

– Да он – дитя неразумное, не знает, что говорит! – кричал в ответ Львов.

– Не было у меня намерений губить его! – ответил атаман, опустив голову.

– Так зачем же ты Бориса с раската велел бросить? Зачем? – крикнул Львов, задыхаясь от злобы.

– Случайно это получилось. Когда велел я снять их с ворот – им бы помалкивать. Так нет – Борис стал ругаться да грозить, плюнул в лицо Леске Черкашину. А тот казак зело горяч, вот и приказал сбросить княжича с раската. Если бы я был рядом, разве позволил бы, – оправдывался Разин.

– Эх ты, атаман! Будет тебе сниться эта невинная душа!

– Не было у меня в мыслях его изводить, так вышло.

Ушел тогда от Разина князь Львов в большой обиде.

Ночь для атамана тянулась мучительно долго. Степан встал с постели, стал ходить из угла в угол по опочивальне. Сон не шел. В голову лезли всякие мысли.

Атаман думал о том, что пора наводить в Астрахани порядок: запретить грабежи, указать, чтобы по городу никто без дела не шатался, не трогал, не обижал женок, не ругался на улице матерно. Теперь, когда Астрахань взята, надо идти дальше по Волге. Степан задумался, присел на лавку, взял ярко расписанную узором яндову, отпил холодного сыта, затем вновь заходил по опочивальне, казня себя за горячность и необдуманные поступки. Наконец он успокоился, рассуждая про себя: «С детьми воеводы получилось нехорошо, даже жестоко, за это Леско Черкашин получит от меня. Но и они, кровопивцы, особенно воевода, сколько народу загубили, сколько крови пустили батогами да плетьюми за долги и неповиновение? Что же теперь их миловать да ублажать? Не бывать этому! Сколько воевода моих товарищей извел, добрых людей до смерти замучил в остроге. Вот, Федора Сукнина жёнку до смерти довели, а детишек в рабство персам продали, а их за эти деяния милуй да не обидь. Конечно, народ в войске собрался всякий: одни – биться за правду, а другие норовят карман набить. За всеми глаз да глаз нужен».

Степан открыл створчатое окно в спальне, выглянул на улицу. Стояла тихая, душная летняя ночь, но с моря тянул свежий ветерок, пахнувший влагой. Разин вдохнул воздух всей своей могучей грудью, всмотрелся в непроглядную темень и про себя отметил: «До рассвета еще далеко, надобно все-таки прилечь и уснуть, а то днем тяжеловато будет». Не закрывая окна, Степан прилег на постель, закрыл глаза, попытался заснуть, но перед ним опять всплывали образы воеводы и его детей. С горечью и укором они смотрели на него, затем исчезали среди множества других лиц, потом появлялись снова. Он то открывал, то закрывал глаза, ворочался с боку на бок, вскакивал в холодном поту, затем проваливался в забытие, снова появлялись лица нищих, убогих, крестьян, казаков. Они протягивали к нему руки, просили: «Защити нас, атаман!» Разин то впадал в сон, то вновь просыпался, мучился, корил себя и снова спорил

сам с собой, отстаивал свои поступки перед собой, клял себя. И уже когда забрезжил рассвет, Степан окончательно поднялся, крикнул Еремку, вышел во двор умыться. У крыльца разделся до пояса, достал из колодца холодной воды и заставил лить на себя. Атаман нагнулся, а молодой казак из кувшина стал поливать ему на спину и шею. Разин громко фыркал, растирал руками грудь, лицо, восторженно восклицая: «Ох и хорошо! Эх, хороша водичка!» Затем выхватил у казака кувшин с холодной водой, плеснул напоследок себе в лицо. Взял из рук Еремки кусок льняной ткани и стал быстро вытирать себе грудь, лицо. И уже бодрый и веселый надел рубаху, накиннул на себя кафтан. Как будто для атамана не было кошмарной ночи, как будто не было усталости и напряжения последних дней.

Не успел он еще надеть кафтан, как увидел, что к нему спешит Фрол Минаев, которого он посылал на Терки, чтобы взять крепость. Вид у Фрола был невеселый. Степан сразу догадался: взять крепость казакам не удалось. Да и знал он, что крепость на Терках новая, хорошо укреплена и стрельцы там все московские, голытьбы почти нет и сноситься не с кем.

– Что же это ты, Фрол, невесел? – спросил лукаво атаман.

– Не взял я крепости, Степан Тимофеевич. Зацепиться там не за кого, наших людей в городе совсем нет. Сколько ни посылали извечиков, все пропадали бесследно, никто не вернулся. Видно, похватили их там люди воеводы. Штурмом брать крепость я не стал, так как с одними пушками нам ее не взять. Постоял я под городом несколько дней и, как ты велел, если крепость будет взять невозможно, – возвратился назад.

– Жалко, что крепость не взяли. Будет враг сзади стоять, – с сожалением сказал Степан. – Да ладно. Некогда нам заниматься Терками, надо вверх по Волге идти, люди нас ждут! А то выступят воеводы, а нам и ударить по ним сил не будет. Народ там, в России, сильно недоволен своими кровососами: они нам помогут, там нам и надобно быть.

– Знать, Степан Тимофеевич, снова в поход?! – радостно спросил Фрол.

– В поход! – улыбаясь, ответил атаман. – На этой седмице выступаем. Готовь, Фрол, своих казаков. А то, что крепость на Терках не взял, не горюй. Придет время – наша она будет!

К разговаривающим подошел Иван Черноярца и, отозвав Степана в сторону, стал рассказывать:

– С Дону от Фрола, брата твоего, гонец прискакал.

– Какие новости привез? – в тревоге спросил Степан, перебивая Черноярца.

– Может, гонца кликнуть? – спросил есаул.

– Не надо, рассказывай, что узнал, – заторопил Разин.

– А сообщает гонец вот что. Стали казаков на Дону беспокоить крымцы и нагайцы. Делают набеги на станицы и городки. Забирают в полон женок и детей, а защищать их некому, сил нет у Фрола. Просит, чтобы послали людей на помощь.

Степан задумался, по-видимому, решая, кого же послать на помощь к Фролу, потом спросил:

– Что же он сообщает о домовитых казаках? Что там поделявает Корнило?

– Корнило продолжает сноситься с Москвой. Говорит гонец, будто побывали в Черкасске какие-то люди тайно, но, когда они прибыли и когда уехали из Черкаска, никто не знает.

– Надобно Фролу передать, пусть перенимает всех людей, которых пошлют в Москву. Если найдут при них грамоты, отбирать и мне пересылать.

– Может, Корнилу убрать, чтобы не мучил домовитых? – жестко спросил Иван.

Степан пристально посмотрел в глаза другу. Тот выдержал взгляд.

Казак был силен характером, никогда не пасовал перед атаманом и смело возражал Разину, если это было нужно.

– Может, ты, Иван, прав, и надобно бы убрать Корнилу, но я не могу. Он ведь мой крестный отец. А потом мне нужно, чтобы он видел своими глазами нашу победу, поверил в наше правое дело и в конце концов взял нашу сторону. Он уж сейчас в шаткости. Будут у нас победы, будут и люди.

– Пусть ты и верно говоришь, атаман, только в трудный час он тебе не поможет! Боярский прихвостень он! – ответил Иван, и в его глазах заходили злые огоньки.

– Какие трудные часы? – с удивлением спросил атаман и улыбнулся. – А если они и будут, так до них еще дожить надо.

– Все может быть, поход наш только начинается, воеводы и бояре с нами в настоящей битве не сходились, а это у нас еще впереди, – ответил Иван.

Степан от слов есаула вдруг стал серьезным, резкая складка залегла на лбу, по лицу пробежала тень, и было видно, что есаул задел его самое больное место, задел то, о чем он думал многие дни и часы.

– Ладно, Иван, пока еще сила на нашей стороне, может, и дальше так будет. А сейчас надобно оказать помощь Фролу. Пошлем-ка мы ему пятьсот улусных татар да тридцать лодок с казаками. Пусть спешно идут на помощь к нему и берегут казацкие станицы и городки. А также скажи гонцу, пусть пришлет Фрол верных людей в Царицын и возьмут там на сбережение казну, так как предстоит большой поход, а как обернется все, мы еще не знаем.

## 13

Фрол Разин впервые был в курене у Корнилы Яковлева. Раньше бывший атаман никогда его к себе не звал и вообще не замечал. Но с тех пор, как до Черкаска дошел слух, что брат его Степан взял Царицын и Астрахань, отношение домовитых казаков к Фролу резко изменилось. Богатые казаки стали привечать его, при встрече кланяться чуть ли не в пояс. Фрол понимал, что всем этим он обязан Степану и его успехам в походе.

Сегодня Корнило зазвал Фрола к себе, ласково ему улыбался, угощал хмельным медом, дорогими винами, водкой. Стол ломился от вкусных закусок.

Выпив несколько чарок вина, Фрол захмелел, улыбаясь, слушал Корнилу.

– Я тебя, Фрол Тимофеевич, дурному не научу. Я ведь только на путь наставлю да хорошие советы дам, а ты слушай, слушай да на ус мотай, – вещал атаман. – Мы тут тебе в женки дочь Афанасия Мельникова подыскали. Ох, и хороша девка.

Фрол уже плохо соображал, таращил глаза на Корнилу, не понимая, в чем дело и чего от него хотят. Наконец до него дошло, что его хотят женить на Настасье, дочери домовитого казака Мельникова. Фрол потрянул головой, взял яндову с холодным сытом, стал пить, долго не отрываясь. Хмель немного вышел из головы, наконец он сказал:

– Вы что, казаки, и в самом деле решили меня женить?

– А почему бы нет, разве Настасья плохая девка? Али тебе не нравится?

Фрол вспомнил сметливую, с красивыми карими глазами Настю. Он часто тайком на нее засматривался.

Ответ не спешил давать, чтобы не показать свою радость перед домовитыми казаками.

Видя, что молодой казак надолго задумался и не дает ответа, Яковлев обратился к Мельникову:

– Вот и Афанасий дает согласие, благословит вас.

Мельников сидел тут же рядом с Корнилой, поглаживая бороду и хитро улыбаясь. Корнило приклонил голову к Афанасию и зашептал что-то на ухо. Тот кивал головой в знак согласия, и глазки его становились масляными, и он щурился, как будто перед ним сидел не Фрол, а лежала горка масляных блинов.

– Вот сволочи, уже и к казне войска подбираются, – промелькнула мысль у Фрола.

– Что же ты молчишь?

– Подумать, казаки, надобно: жениться – это дело серьезное, – Фрол встал, вышел на крыльцо атаманова куреня.

На улице уже стояла звездная ночь, было душно, только иногда со стороны реки с ветерком тянуло свежестью и прохладой. На небе возшла полная луна, серебристый свет ее мягко лился на землю, освещая городок. Вокруг было светло и таинственно. От домов и деревьев падали резкие тени, где невозможно было ничего различить. Листва на деревьях под лунным светом серебрилась, и казалось, что они сделаны из драгоценного металла.

Фрол вздохнул полной грудью, наслаждаясь запахами летней ночи, прислушался. В траве стрекотали кузнечики, вскрикивали ночные птицы. Ночь жила своей жизнью, была полна шорохов, пугала и притягивала своей темной бездной, бесконечностью тьмы.

Потоптавшись на крыльце, Фрол вошел в курень. Решил согласиться. Настя давно его привлекала к себе, но знал он неприступность домовитых казаков. Даже не пытался никогда с ней заговаривать. Ну а коли счастье само в руки идет, надо его брать!

Сев за стол, взял в руки гусли, с которыми никогда не расставался, легко тронул их своими длинными пальцами. Сделал перебор струн, и вот полились мягкие нежные звуки. Фрол запел:

*Вечор у меня девица была...*

*И руку дала идти за меня,*

*А нынче девицу замуж отдают,*

*Замуж отдают – просватывают...*

– Хватит, Фрол, придуриваться! – перебивая певца, крикнул Корнило, явно теряя терпение. – Говори: согласен или нет?!

– Что с вами делать, атаманы, придется согласиться, – снисходительно улыбаясь, ответил Фрол.

– Вот это добре! За это можно и поднять красули! А завтра засылай к Мельникову сватов.

Фрол Разин встал, поклонился на три стороны, перекинул за плечи гусли, молвил:

– А теперь, атаманы, пойду-ка я домой. Завтра дел у меня немало. И еще. Не шлите без моего ведома гонцов на Москву, а то уже третьего вашего казака мои ребята перехватили, – произнеся эти слова, Разин повернулся и вышел из куреня.

– Видал его?! Ему бы по кабакам песни играть, а он, видите ли, атаман! – в сердцах сказал Мельников, когда дверь за Фролом закрылась.

– Не ругаться тебе надобно, Афанасий, а радоваться: он ведь твой будущий зять.

– Зять! Тю-у-у... – в сердцах сплюнул Мельников.

– Зря ты так, – возразил Корнило. – Теперь через твою дочь мы будем знать все, что надумают государевы изменники. Когда надобно будет, укоротим его, да и если твоя Настя не дура, то может немало богатства прибрать к рукам.

Жадный и падкий на золото, Мельников расплылся в улыбке. По всему было видно, что такой оборот дела его вполне устраивает. Он даже радостно произнес:

– Да шут с ней – с этой Настей, ничего с ней не делается, а для нас, может, и польза будет.

– Истину говоришь, Афанасий, через твою Настю многое мы можем сделать.

– Уж Настенька моя постарается, – согласился домовитый казак и, задумавшись на некоторое время, вдруг в тревоге произнес: – А как царские стрельцы побьют Разина да похвалят казаков, тогда что?..

– Скажем, что Фрол силой взял ее в жены. Да с богатством, какое у нее будет, любой домовитый казак ее возьмет. Ты же сам видел, сколько телег барахла Фрол притащил. Казаки говорят, что несколько из них даже золотом грузены. Чуешь, казак? – и Корнило поднял многозначительно палец вверх, зная алчную жадность Афанасия.

– Эх, чую, чую, Корнило! – сладким голосом запел Мельников. – Да вот только как к золоту-то подобраться?!

– Эх ты, Афоня, Афоня, почти всю жизнь прожил, так ничего и не понял. Да ежели баба чего захочет, все равно добьется, а особенно, у своего мужа. Что ты думаешь, зря я твою Настю посоветовал в женки ему отдать? Да потому, что я знаю: она ему нравится. Сколько раз замечал, как он на нее смотрит, не отрывая глаз, значит, любя ему. А раз любя, то для нее он все, что хочешь, сделает. Если, конечно, душой не будет. Но по всему этому я еще с ней сам поговорю. Чуешь, казак?

– Чую, чую, батько!

– Вот то-то и оно. Да и сам помаленьку с ней говори, настраивай, особенно женку свою научи. Бабы – они друг дружку хорошо понимают. Теперь об этом хватит, надобно поговорить про другое. Задумал я все-таки гонца в Москву направить и обо всем доложить Юрию Долгорукому.

– Переймут его Фроловы дозорные, – возразил Афанасий, – напраслина все это.

– Почему же напраслина? Попробуем перехитрить их. Пока еще Разин в Астрахани, пошлем своих людей в Царицын, якобы, за солью, на торг. Уговорим Фрола, чтобы пропустил, а там выше Царицына, пока разинцев нет, они пройдут свободно. Завтра велю Ивану, писарю нашему, отписать грамоту и в ней заверить государя, Алексея Михайловича, в нашей верности ему, что мы собираем силы и, как представится удобный случай, послужим верой и правдой, не жалея живота своего.

На крыльце послышались тяжелые шаги, и вскоре в горницу вошел Михаил Самаринин. Став атаманом, он сильно изменился, в лице появилась надменность, тонкие губы часто капризно кривились, когда он выражал недовольство. Зато лицом казак поправился и раздался вширь. В движениях появились медлительность и важность. Но в обращении с Корнилой казак терялся. Новоявленный атаман побаивался старика, так как знал его силу и влияние на домовитых казаков, а может, и понимал, что сам он – атаман при атамане, но с этим смирился. Зато, когда был наедине с простыми казаками, тут уж он напускал на себя большую важность и неприступность. Поэтому-то и казаки за всяким делом обращались к Корниле, а он решал все, тем самым еще более укрепляя у казаков веру в себя и свою непоколебимость.

– Что нового, атаман? – с улыбкой спросил Корнило.

Самаринин молча налил себе водки, залпом выпил и, чуть закусив кусочком мяса, заговорил:

– А что, Корнило Яковлевич, может быть нового? Казаки Фролки Разина не спят, стерегут город, кругом выставили дозоры, так что гонцу не пройти незамеченным, все равно сцапают, как и тех, которых мы уже посылали.

– Тогда сделаем так. Завтра пошлем казаков за солью в Царицын. Соли в городе нет. Мы всю лишнюю уже попрятали в лавках, где загребли, где скупили.

– А выпустит ли Фролка людей? – с сомнением спросил Самаринин.

– Выпустит. Мы тут за него Настю выдаем, вот за его дочку, – и атаман указал на Мельникова. – Попросим выпустить.

– Он-то, может, и выпустит, только Яшка Гаврилов не выпустит. Это такая бестия, что от него можно ожидать всего. Нет, не выпустит, – возразил Михаил.

– Яшку Гаврилова ты возьмешь на себя. Ззови его в кабак или к себе домой и пои до тех пор, пока с ног не свалится.

– А ежели не захочет? – с сомнением спросил Михаил.

– Захочет. Ты только ключик под него подбери.

– Как это ключик подобрать? – удивился Михаил.

– Сколько учу я тебя, как с людьми говорить, но никак не научу. Вот Стенька, мой крестничек, тот насчет этого молодец.

Самаринин насутился, капризно скривил губы.

– Ну что ты скривился, атаман? Слушай, что говорить буду. Как встретишь Якушку, зачни с ним разговор, мол, молодец Стенька Разин, вон какой город взял – Астрахань, шутка ли? Мол, пойдём выпьем за здоровье Степана Тимофеевича и за благополучный поход. А от этого он не откажется. Льсти ему, восхищайся деяниями Стеньки и заставляй пить за здоровье атамана. Так что накачается твой Якушка, будь здоров, да попытайся у него спьяну узнать кое-что, а сам-то не пей. Хорошо слушай, что он говорить будет, чем хвалиться. Да не вздумай перед ним кочевряжиться, атамана из себя строить. Не любят этого казаки, еще побьет.

Самаринин тяжело вздохнул, потом предложил:

– Лучше я со станицей займусь, а с Яшкой пусть поговорит вот Мельников.

Афанасий от неожиданности даже подпрыгнул. Вытаращив глаза, стал громко и яростно возражать:

– Да ты что! Чтобы я с этим супостатом разговаривал?! Да ни за что!

– Эх вы, казаки! Все за вас я должен делать! А вы, как псы, кость ждете и рады на готовенькое! Будет все, как я велел, – твердо сказал атаман. – Если ждать, сложа руки, придет Стенька. Меня не тронет, я ему как-никак крестный отец, а вот ваше богатство заберет и велит на дуване поделить меж гольтьбой. Так что подумайте, казаки...

## 14

Степан Разин и его ближние есаулы – Василий Ус, Фрол Минаев, Федор Сукнин и первый есаул Иван Черноярец веселой ватагой шли к митрополиту Иосифу. Шли казаки, подшучивая друг над другом, весело пересмеивались.

Еще издали астраханцы, завидев Разина и его есаулов, кланялись в пояс или крестили их со словами: «Спаси вас Христос, наши избавители и радетели!»

А атаман, лихо заломив на затылок с красным верхом баранью папаху, с посветлевшим лицом вышагивал посреди улицы. На нем был малиновый кафтан, отделанный золотой канителью и серебряными позументами. Пристегнутая на боку дорогая сабля поблескивала драгоценными камнями в рукоятке и ножнах. За поясом у Разина небрежно заткнул пистолет, на плечах наброшена голубая накидка.

Сегодня атаман, как никогда, был уверен в себе. Он чувствовал за собой силу и был добр и щедр. Из кожаного мешка, который нес Фрол Минаев, атаман, то и дело запуская в него свою руку и беря горсть серебряных монет, бросал в толпу, которая на расстоянии следовала за казаками.

– Надобно нам, ребята, уговорить митрополита, чтобы он дал согласие на крестное целование астраханцев.

– На кой тебе, Тимофеевич, это крестное целование? – спросил Василий Ус.

– Как это на кой! Астрахань должна быть верна нам всегда, и, оставляя ее, мы должны быть уверены, что город с нами! – ответил Разин.

– А если митрополит Иосиф не согласится? – вмешался в разговор Иван Черноярец.

– Надо уговорить сделать так, чтобы не помешал! – властно ответил Степан.

– Дай-ка мне митрополита, я с ним ласково поговорю, и он у меня все разрешит, – вмешался в разговор Василий Ус.

– Об этом, Василий, даже не думай. Нельзя нам с ним силой. И так уж по всей Руси меня в церквах анафеме предают, – сказал Разин.

– Почем знаешь, атаман? – заинтересовался сообщением Фрол Минаев.

– Людишки сообщают – те, что к нам идут, – ответил Степан.

– Худо дело... Могут этим отбить от нас людей, – сказал Иван Чернойрец.

– Вот то-то и оно, что худо. А ты, Василий, говоришь: дай мне митрополита, – обратился атаман к Усу. – Тут не знаешь, как его задобрить. Уж скольким боярам, купцам, да их людишкам пришлось жизнь сохранить. В воду их не сажать. А все из-за того, чтобы этого проклятого Иосифа задобрить. Вот теперь за дьяка Игнатия вчера просил.

Услышав имя своего заклятого врага, Федор Сукнин подскочил к Разину, схватил его за руку и, задыхаясь от гнева, стал просить:

– Дай мне его, атаман! Христом богом умоляю, дай мне в руки этого супостата, что извел мою женку и деток!

– Он ведь, проклятый, не только твоих женку с детьми извел. Он, изверг, немало уничтожил и наших казаков, да и просто невинных людей, которых хватили по городу за неосторожные речи.

– Но где же он, где? – просил и настаивал Федор.

Атаман, тяжело вздохнув, ответил:

– Если бы я знал – где! Где-то, сволочь, схоронился! Но я сказал Иосифу, что прощаю его. Может, сейчас появится.

– Дозволь, батько, взять своих людей. Я весь город переверну, а его найду.

– Ты, Федор, погоды! Остынь маленько, – с хитровой улыбкой произнес Разин. – Митрополиту я сказал, что прощаю дьяка Игнатия, а когда он появится, тогда делайте с ним, что хотите. Таким, как этот человек, нечего делать на белом свете! Да простит мне Бог мой обман!

Между тем казаки подошли ко двору митрополита. На крыльце стоял Иосиф в окружении попов, бояр и купцов. Он проводил казаков в дом, где в большой горнице был накрыт богатый стол: и питья, и закусок было вдоволь. За столом сидела вся уцелевшая верхушка города. Рядом с Иосифом были князь Львов и дьяк Игнатий. Он сидел, как затравленный зверь, глаза его бегали, лицо было бледное, а по лбу катился пот, который дьяк смахивал рукавом.

Застолье набралось большое, все говорили вполголоса или перешептывались.

С грохотом отодвинув сидельницу, встал Разин. Кое-кто за столом даже вздрогнул, а дьяк Игнатий втянул голову в плечи.

Степан поднял серебряный кубок с вином и крикнул:

– Выпьем за здоровье государя нашего Алексея Михайловича! Все встали и осушили кубки.

Еще несколько раз атаман поднимал кубки за здоровье царицы, царевича, митрополита Астраханского и Терского Иосифа.

Дивились сидящие за столом бояре, купцы и церковные служители, шептались между собой, недоумевали. Как это можно славить государя и идти против него, громить его города, уничтожать его людей.

После тостов разговор за столом оживился. Казаки и богатые люди города стали меж собой говорить, даже спорить. А Федор Сукнин начал подбираться поближе к дьяку Игнатию; заметив это, атаман схватил есаула за кафтан, притянул к себе и силой усадил рядом:

– Не вздумай портить мне обедню, потерпи!

Митрополит Иосиф сидел рядом со Степаном. Лицом был хмур, вина почти не пил. Лишь иногда из-под кустистых седых бровей с ненавистью бросал взгляд на атамана.

Степан делал вид, как будто этого не замечает, улыбался, был приветлив с Иосифом. Наклонившись к митрополиту, сказал:

– Дозволь, батюшка, город к крестному целованию привести, чтобы верой и правдой служили царю и мне, его слуге.

– Царю-то ладно, а вот тебе-то почему?! – резко спросил Иосиф.

В глазах Степана заходили злые огоньки. Доброе, приветливое лицо словно окаменело, и в нем появилось что-то жестокое, пугающее.

Митрополит вдруг понял, что если он сейчас не согласится с Разиным, то для него все это может

кончиться плохо. Тогда едва ли ему удастся осуществить задуманное. Вся надежда Иосифа и его людей была на уход Разина, чтобы потом снова захватить власть в городе.

– Что ж, атаман, – сухо ответил митрополит, поджав тонкие губы, – коли ты хочешь привести людей к крестному целованию за дело государево, я велю попам всех церквей исполнить твоё желание, сам же я там не буду, так как сильно недомогаю.

\* \* \*

Еще с раннего утра за город на берег реки Волги потянулся народ. Люди шли празднично разодетые, с радостными лицами.

В церквях звонили колокола, призывая народ на крестное целование.

Глашатаи Разина ходили по всему городу, звали людей на берег Волги, обещали людям богатый дуван и угощение.

Вдоль низкого берега реки, на зеленой лужайке, в ряд стояли попы с серебряными крестами, одетые в нарядные, шитые золотом рясы.

Атаман и его есаулы находились чуть в стороне – на пригорке – и наблюдали за всем происходящим.

Люди нескончаемой вереницей шли, прикладываясь к кресту, и произносили слова:

– Клянусь верно служить государю нашему Алексею Михайловичу и атаману Степану Тимофеевичу, – и отходили в сторону, где их ожидал виночерпий с чаркой вина, а есаулы и сотники раздавали людям вещи, отнятые у богатых.

Вглядываясь в лица, Степан Разин видел улыбки и сам был доволен. С радостью народ дает присягу, кланяются ему до земли! Люди все одинаковые: богатые и бедные, бояре или простые людишки. Так же у них две ноги, две руки, так же умирают и рождаются. Но когда же люди разделились на богатых и бедных? Кто это сделал? Кому это было нужно? Наверно, тому, кто хотел властвовать и есть-пить лучше других, не прикладывая труда. Даже у нас на Дону так было. Еще его отец, старый казак Разя, рассказывал, что на Дону все казаки, по-первости, были равны. Но одни в походах были удачливы, другие менее удачливы. Одни сквозь пальцы спускали добытые в походах богатства, пропивали их в кабаках, сорили золотом и барахлом. Другие же – такие, как его крестный Корнило – собирали, копили богатство, приобретали себе хозяйство, скот, строили дома, сажали сады и огороды. И уже со временем могли жить и без похода, своим хозяйством. Вот теперь и разделились казаки на домовитых и гольтубу. Сильный и богатый человек постепенно подчинял себе других людей, захватывал земли, – пришел к выводу атаман. Оглядев лужайку, заполненную множеством народа, твердо сказал себе: «Я их сделаю всех равными, пусть каждому будет счастье! За это я и бьюсь и буду биться с боярами да воеводами».

От мыслей отвлек атамана Федор Сукнин. Он быстро подошел к Разину, наклонился к его уху, зашептал:

– Дьяка Игнатия мы поймали. Долго выследить не могли, но мои ребята такие, что от них и муха не уйдет, любого изловят. Вот и захватили злодея.

Вслушав есаула, Степан резко повернулся к Федору и зло прошептал:

– Вези его, куда хочешь, кончай, где хочешь, только не в городе. Не хватало еще мне потом перед митрополитом ответ держать за эту сволочь. Видел ли кто-нибудь, как его взяли?

– Нет, Тимофеевич, никто не видел.

К есаулам подошла нарядно одетая женщина. Разин сразу же ее заметил и стал наблюдать за ней.

Она подошла к есаулу Ивану Красулину, отошла с ним в сторону и долго о чем-то разговаривала, часто поглядывая на атамана.

Разин заметил это и поманил ее к себе. Анна вспыхнула, опустила голову, затем с интересом глянула своими темными глазами на атамана и смело подошла к Степану:

– Верно ли люди говорят, что ты, атаман, уходишь из нашего города?

С чисто женским любопытством Анна, не стесняясь, разглядывала его. Глаза ее поблескивали, лицо озарилось, а щеки по-особенному вспыхнули. В это время она была прекрасна. Анна как бы освещалась изнутри.

Степан привлек к себе женщину и зашептал ей что-то на ухо. Она кокетливо улыбнулась, закивала головой в знак согласия. Поглаживая стройный стан женщины, Разин потрепал ее по бедру и сказал, обращаясь к Черноярцу:

– Откуда, Иван, у нас такие женки берутся – и статны, и красивы?

Анна засмеялась счастливым смехом и, не подходя к Красулину, удалилась в город.

Иван долго недоумевал, ломал себе голову, думая о том, что же ей такого сказал атаман. А потом неожиданно для себя понял, но не заволновался, не проникся страшной ревностью, как бывает с мужчинами, а просто согласился с тем, что ему все равно, ведь он ее не любил и не помнил о ней, когда ее не было рядом. И решил для себя твердо, раз Анна выбрала атамана сама, знать, так тому и быть. Пусть батько потешится.

## 15

Игнатия закрыли в сарае. Было в нем темно и сыро. Пахло прелью, старой соломой. Он долго лежал на ней, пока глаза его не привыкли. Наконец дьяк стал различать отдельные предметы, кучу соломы, щели, откуда проникал свет. Игнатий встал, медленно прошелся вдоль стен сарая. Руки нащупали толстые бревна, дубовую дверь из толстых плах. Дьяк не на шутку затосковал, предчувствуя беду. Правда, сам атаман его простил. И прощение-то дал перед митрополитом. Не должны казаки Разина схватить его. А может, атаман слукавил, ведь его власть: что хочет, то и делает. От этих мыслей у дьяка засосало под ложечкой, подступила предсмертная тоска. И стал он вспоминать, как сюда попал. Жил тайно на подворье у одного из писарей приказной палаты и из своей каморки почти не выходил. Ждал, когда Разин уйдет из города. А вчера – не успел он выйти во двор по надобности, как навалились на него неведомые люди, заткнули рот тряпкой, надели на голову мешок и приволокли в этот сарай. Кому он попал в руки, Игнатий не знал, но догадывался, что это есаул, жену которого он пытал, а детей продал персидским купцам. Знал Игнатий, что тот такое никогда не простит. Видно, попался в руки ему, и ждать милости неоткуда.

Дьяк опять прилег, задумался, догадываясь о том, что, может быть, жить ему осталось совсем немного, но не раскаивался в своем прошлом, совесть не мучила его, он не думал о содеянном, о людях, которых по его велению замучили. Он знал одно: так было и так должно быть всегда, на все воля божия и царя. Дьяк жалел лишь об одном: ему не удалось переждать казаков, придется так глупо умереть.

Игнатий люто ненавидел Разина и его есаулов, считал их главными виновниками во всех несчастьях его и других людей Астрахани. Так пленник пролежал много времени, мысли его перескакивали с одного на другое, сознание лихорадочно цеплялось за прошлое, но там у дьяка ничего не было, он не помнил ничего хорошего, кроме раболепства перед начальством, воеводами и прилежной им службы.

Уже в щели сарая перестал проникать свет, и в помещении узника наступила непроглядная тень. Но вот раздались тяжелые шаги, загредел железный засов, надсадно заскрежетала, отворяясь, дверь, и из тьмы раздался хриплый голос:

– Эй, дьяк, иди сюда!

Игнатий троекратно перекрестился и, шепча молитву, направился к двери. Там он увидел трех казаков. Не успел узник толком разглядеть незнакомых людей, как ему в рот сунули тряпку, накинули на него мешок, связали кожаными ремнями, перебросили через седло, и Игнатий услышал все тот же хриплый голос: «Айда на берег Волги». Дьяк почувствовал, как его конь тронулся. В мешке было душно и неловко лежать поперек седла, но ни крикнуть, ни сказать дьяк ничего не мог. Он попытался брыкаться, выражая тем самым свое недовольство, но, получив пару раз плетью по заднице, притих.

Лошади шли мучительно долго, дьяку уже стало казаться, что их путь никогда не кончится. Наконец кони встали, и пленник почувствовал, как его отвязали от седла, затем бросили на землю, а через некоторое время развязали ремни и сдернули мешок.

Игнатий огляделся: двое казаков стояли чуть в стороне, а один находился прямо перед ним.

– Вставай, дьяк! – сурово приказал казак.

Игнатий поднялся, от страха его охватила дрожь, зубы стучали, лихорадочно мелькнула мысль: «Что же это вы задумали?!»

Казак сделал шаг к Игнатию:

– Что ж, злыдень, пришло время тебе расплатиться за все твои дела, – и Федор Сукнин рванул саблю. Блеснула холодная сталь клинка, Игнатий повалился в ноги, закричал:

– Нет! Нет! Ваш атаман простил мне все грехи!

Федор недобро усмехнулся и ответил:

– Атаман простил, а я отпущу!.. Вспомни, как ты мучил мою женку, куда и кому продал моих детей! – грозно наступал казак.

Игнатий, заломив руки, запричитал:

– Не повинен я ни в чем! Это воевода Прозоровский велел!

– Теперь на воеводу все можно валить, раз он мертв, – зло ответил Федор Сукнин, затем попросил одного из казаков:

– Фрол, дай-ка саблю дьяку. Не могу беззащитного срубить. Минаев вложил в руки дьяку саблю, тот стоял, безучастный к окружающему.

Федор сделал резкий взмах клинком, направленным на Игнатия. Тот вдруг ожил, с удивительной ловкостью отбил удар есаула, резко повернулся и что есть силы бросился бежать вдоль берега к густым зарослям ивняка. Федор кинулся за ним, но дьяк мчался, как одержимый, и угнаться за ним было трудно. Вот и заросли. Игнатий юркнул в кусты и пропал, только слышен был треск. Федор продолжал преследовать своего врага, то и дело натываясь на коряги, но не выпуская из вида беглеца. Но вот Игнатий исчез, не слышалось треска сучьев – кругом наступила тишина, и только кузнечики да крики ночных птиц нарушали её.

– Наверно, где-то затаился, – подумал Федор и медленно пошел туда, где мог быть дьяк. Есаул двигался осторожно, стараясь держать саблю наготове. Останавливался, прислушивался. Вдруг из-за дерева на него метнулась тень, казак получил удар по бараньей шапке, но устоял, увернулся и резко отпрыгнул.

Дьяк стал отчаянно наступать на есаула, стараясь ударить его увесистой дубиной. Федор изворачивался, как мог, наконец, изловчившись, достал Игнатия саблей. Тот охнул, схватился за бок, бросив палку. Сверкнул клинок, и безжизненное тело дьяка-убийцы и мучителя покатило в овраг.

Тут подоспели двое отставших казаков. Сукнин распорядился, чтобы закопали злодея, и, не оборачиваясь и ни о чем не сожалея, вернулся к своим.

\* \* \*

Степан Разин, Василий Ус, Федор Шелудяк уже второй час сидели в приказной палате. Атаман вел разговор важный и длительный, многое хотелось сказать, не упустить и наказать своим товарищам. Все было готово к походу на Царицын, и сегодня наступила последняя ночь их пребывания в Астрахани.

– От самого сердца отрываю вас, ребята, но город оставить не на кого. Вы – атаман боевые, и крепость удержите. Нужен он нам еще будет. Мало ли что: вдруг в походе удача покинет, тогда отсидеться здесь можно до хороших времен. Так что, казаки, на вас надежда немалая, – сказал он.

– Князя Львова с собой берешь? – поинтересовался Федор Шелудяк.

– Нет, я вам его оставляю. Зачем он мне? Еще за собой его таскать. Правьте вместе с ним городом. Его от себя не гоните, а наоборот – ближе с ним будьте, через него с богатеями города лучше договариваться, но и глаз с него не спускайте, больших тайн не доверяйте.

– А ты куда, Тимофеевич, пойдешь походом? – со вздохом спросил Василий Ус.

Степан похлопал Уса по плечу и сказал, успокаивая:

– Ты, Василий, не горюй. Знаю, что ты атаман боевой и рвешься на Русь. Но пока я иду только до Царицына и, как надумаю дальше идти, пришлю вам замену.

Василий пристально посмотрел в глаза атаману, подумал: «Либо атаман не хочет меня брать с собой, либо боится, что болезнь меня совсем свалит», – и закашлялся сухим кашлем.

При взятии Астрахани, оглушенный ударом по голове, Василий Ус упал в ров с водой и долго там пролежал, пока его не подобрала казаки. После этого Василий слег, метался несколько дней в жару, потом болезнь вроде бы отпустила, но кашель и боль в груди не проходили. Поэтому Степан Разин, жалея его, оставлял в Астрахани, хоть и нужен ему был Ус.

Как бы угадав мысли Василия, атаман сказал:

– Ты сильно не спеши в поход. Выздоровливай. В баньку ходи, попарься, женку ядреную пригляди, пусть полечит травами, – и, улыбаясь, подмигнул казакам. – Забот у вас тут своих хватит. Вершите дела казацким кругом. Простых людишек в обиду не давайте, а измену бояр, купцов да всяких богатых людей выводите. Обо всем сообщайте грамотами.

– А как быть с митрополитом? – спросил Федор.

– С Иосифа не сводите глаз. Он, видно, как я уйду из Астрахани, попытается захватить власть.

– Не бывать этому! – резко сказал Василий.

– Митрополит и его люди что-то замышляют. Это видно по тому, как все время на его дворе народ кучкуется, – сообщил Шелудяк.

– Как только обнаружите заговор, хватайте мятежников и в воду, – жестко сказал атаман. – А пока ни митрополита Иосифа, ни князя Львова не трогайте. Если смуту среди астраханцев сеять не будут, пусть живут: нам они еще пригодятся.

Василий Ус снова закашлялся, потом, успокоившись, тоскливо сказал:

– Вот проклятая лихоманка навязалась! – и, глядя на атамана горящими глазами, спросил: – Думаешь ли ты, атаман, все-таки идти на Русь?

Степан думал про себя: «Что же сказать сейчас Василию?» Ведь он и сам для себя еще не решил, что ему теперь делать с таким огромным войском. А делать что-то надо было, иначе люди от него разбегутся. Но идти на Русь так сразу, не обдумав и не взвесив всего, он не мог. Разин знал, какое это опасное дело – идти на Москву, знал, какая огромная сила у государства. Так просто победы не добиться. И чем дальше будет он идти в глубь России, тем тяжелее будут победы, тем сильнее будет сопротивление. Войско же его не обучено и к ратному делу не приспособлено, разве что казаки, да их-то не так много. Боялся Степан идти на Москву, знал, что если его побьют там, то придет конец походу, сразу же все недруги его на Дону и в захваченных городах воспрянут духом. Не хотелось Степану рисковать начатым делом, но Усу ответил:

– От этих дум, Василий, я ночами не сплю. Только от этого мне не легче. Чем больше думаю, тем больше опасностей всплывает. Но знай: в Царицын иду я не зря, оттуда мы начнем самый большой поход.

## 16

Наступила середина лета. Стояли знойные погожие дни. Ранним утром казаки во главе со Степаном Разиным уходили из Астрахани, уходили, радуясь новому походу – на горе своим любимым женщинам и на зависть остававшимся казакам. Прощались с насиженным местом, но новые удачи в походе манили и привлекали их.

Почти все астраханцы, от мала до велика, вышли на берег Волги провожать казаков. Разодетые в праздничные одежды, женщины несли хлеб, вино и другую снедь, с поклоном отдавая ее своим избавителям и защитникам. С Разиным уходили в поход и многие астраханцы.

Первыми выступали из Астрахани струги и насады. Более двухсот судов снарядил Разин в большой поход.

Огромная толпа разноголосого гудела. Где-то был слышен смех, шутка подвыпившего казака, где-то голосила баба, прощаясь со своим ненаглядным.

Степан стоял в окружении Ивана Черноярца, Василия Уса, Федора Шелудяка, Фрола Минаева. Черноярца должен был вести десять тысяч казаков водным путем, поэтому атаман давал последние наставления своему другу и первому есаулу войска.

– Ты, Иван, рекой иди с опаской. Извечки доносили, что улусные татары и калмыцкий тайша Мончак встали между Волгой и Доном, перекрыли пути. Могут неожиданно напасть. Так что высылай вперед на много верст дозор по реке. А если что, сразу же мне сообщай. Я со своими конниками, а их у меня наберется более двух тысяч, буду прикрывать тебя с берега.

– Будем, Тимофеевич, смотреть в оба, – ответил Черноярца.

Тут подбежал запыхавшийся Еремка:

– Уже, батя, к отплытию все готово.

Разин подал сигнал Ивану Красулину, тот поджег фитиль. Раздался выстрел из пушки. Со стен города раскатисто прогремели большие крепостные орудия, давая сигнал к выступлению.

Засуетился народ на пристани, зашумел, задвигался, сильнее заголосили бабы, вцепившись в уходящих в поход казаков.

Раздалась зычная команда Черноярца:

– По ло-д-ка-м!

Вскоре разинцы расселись на своих судах, и струги, насады, легкие лодочки стали одна за другой отчаливать от берега, плывя вверх по Волге.

Женщины на прощание махали платками вслед уплывающим. И вот красивый женский голос запел:

*Скучно, матушка, весной мне жить одной,  
А скучней того – не идет ко мне милой,  
А я с горя, с кручины молода,  
И я выйду на крылечко, постою,  
На все четыре стороны погляжу...*

Степан прислушался к песне, которая звонко неслась над толпой астраханцев, улыбнулся: «Горюют женки по казакам. Всегда у них одно желание: привязать нашего брата к юбке – и покрепче».

Степан троекратно расцеловался с Василием Усом, Федором Шелудяком, на прощание сказал им: – Держите город в руках, атаманы! Да сами в миру живите!

Взял под уздцы своего серого в яблоках жеребца, легко вскочил в седло, крикнул: «По ко-ням!».

Взлетели в седла удалые казаки, натянули поводья сильными руками. Наклонились, ловя последние поцелуи любимых женщин. А Степан уже наметом мчался по пыльной дороге к буграм, увлекая за собой свое двухтысячное войско. На бугре Разин остановился, резко развернул своего жеребца в сторону Астрахани. Конь встал на дыбы, потом пошел боком, захрапел, но, укрощенный сильной и умелой рукой всадника, заплясал, кося диким лиловым глазом. Степан в последний раз взглянул на очертания крепостных стен и башен города, и ему вдруг до боли стало жаль расставаться с Астраханью, о которой он так долго мечтал, строил множество планов, как ею овладеть, и в которую он все-таки вошел как победитель. А теперь, когда эта мечта сбылась, он должен уйти отсюда. Жизнь заставляла атамана идти вперед, брать новые города и этим самым увлекать за собой народ. Ему нельзя было останавливаться, его ждали люди, которым нужна была свобода.

Проводив своих друзей и атамана, Василий Ус еще долго стоял на берегу реки. Мысли его были далеки от Астрахани, он был с теми, кто плыл на Царицын. Немало мечтал Василий о том, как они со Степаном соберут большое войско и пойдут в глубь России бить бояр, воевод и всех обидчиков простого народа. А как освободят несчастных из непосильной кабалы, разделят меж ними землю, устроят справедливый мир. Уже виделись Усу счастливые лица простых людей. И вот теперь он вынужден оставаться здесь, в Астрахани, из-за своей болезни, которая не ко времени на него свалилась. Кашель вновь стал душить казака.

Подошел Федор Шелудяк, с нескрываемой радостью произнес:

– Вот мы, Василий, с тобой и одни остались, теперь мы властители этого города!

Ус пристально посмотрел на самодовольное лицо Федора: «Видно, нравится ему властвовать над людьми. Да только власть-то не всем доверять надобно! Зря, однако, атаман его к власти поставил: по всему видно – не справедливость стремится творить, а властвовать».

– Что ты молчишь, Ус? Скажи что-нибудь, – весело балагурил Шелудяк. – Как власть-то делить будем, кто атаманишь в городе станет?

Василий с неприязнью посмотрел на казака, усмехнулся, ответил:

– Уж больно, Федор, прыток ты до власти, смотри – шею не сверни. Ведь властью-то с умом пользоваться надо. Даже воеводы – и те думали, а нам, народным защитникам и радетелям, и подавно думать надо. А насчет атаманства решим так, как сказал Разин: троим нам атаманишь в городе – так и будет. Все решать будем кругом – сообща, а в малых делах – согласием.

Выслушав Уса, Шелудяк помрачнел. Явно такой ответ его не устраивал. Федор был горяч по натуре и привык всего добиваться как можно быстрее, а опытный и на первый взгляд медлительный Василий Ус мешал ему сразу же достичь желаемого. Федор не любил выжидать, все его действия сопрягались с быстротой решения: возможно, в бою это было и хорошо, а в политике могло привести к печальным последствиям. Но это был человек справедливый, с недюжинной силой характера, чем покорял и собирал вокруг себя людей: в нем видели они выражение своих желаний и, не задумываясь, шли за ним.

Василий Ус был человек неторопливый, но, обдумав то, что замыслил, уже делал до конца, не спеша, уверенно.

Горячему Федору почему-то все время представлялось, что Ус специально, во вред ему мешает в делах. Ему постоянно казалось, что Василий намеренно придумывает всякие ухищрения, чтобы только не дать ему действовать. Василий Ус гирей висел у него на руках и ногах, за что Шелудяк его недолюбливал, а порой и просто ненавидел. Знал, что они борются за одно дело, но ничего поделаться с собой не мог.

- Выходит, Василий, городом править будем вдвоем?
- Не вдвоем, а троим, – поправил Ус.
- А кто же еще? – притворно недоумевая, спросил Федор.
- Князь Львов, – резко ответил Ус.
- Острог давно ждет князя, а он его к управе ставит, – усмехаясь, сказал Федор.
- Как велел Степан, так и будем исполнять управу городом.

Шелудяк в досаде плюнул на землю, хлестнул плетью по песку и вразвалочку пошел к астраханским воротам.

Уже подходя к ним, Федор заметил богато одетую женщину. Казак заспешил за ней. Женщина вдруг остановилась, подождала Шелудяка, загадочно улыбаясь, смело спросила:

- Что, казак, опять поругался со своим другом?

Федор с удивлением уставился на женщину. Его жадный взгляд скользнул по ладной фигуре, красивому лицу; казак невольно остановился, забыв обо всех своих неприятностях:

- Откуда это у нас в городе такие красивые женщины? – и попытался обнять ее за пышные бедра.

Анна со смехом, кокетливо отстранилась от нового поклонника, но, многообещающе играя своими искристыми глазами, посмотрела на Федора, затем в свою очередь молвила:

– А я до сих пор не встречала такого доброго молодца! – и, улыбнувшись казаку, быстро зашагала в город.

Федор резво догнал женщину, схватил ее за руку, взмолился:

- Постой же, красавица! Скажи мне только имя твое!

Анна, не останавливаясь, ответила:

– Сегодня в полночь приходи на базарную площадь: у большого дуба будет ждать тебя человек. Потом все узнаешь.

\* \* \*

Между тем войско Разина быстро продвигалось по реке и по суше. Когда дорога шла по берегу Волги, то всадники видели плывущий караван, который растянулся по реке. Видя мощь своего войска, Степан гордился за содеянное им: сразу же уходили сомнения и неуверенность. Еще никогда и никто не собирал такую огромную силу против обидчиков и угнетателей народа. В это время в душе Разина складывалась уверенность в себе, что порой казалось, будто ему не может противостоять никакая сила и до свершения его замыслов – устроить справедливый мир – осталось совсем немного. Планы на будущее у него в сознании еще вырисовывались, их было множество, но они пока не вселяли полной уверенности. Где-то в душе он еще надеялся на поддержку запорожских казаков. Вот-вот, мол, гетман Дорошенко и атаман Серко одумаются и примут его предложение – вместе с ним ударить по окраинам России, но пока что от них нет никаких известий. Хитрят запорожцы, не хотят большой драки.

- Степан Тимофеевич! – крикнул кто-то рядом.

Разин очнулся от дум и увидел Ефима.

- Татарва на холме! – опять крикнул Ефим, показывая в сторону берега.

Разин взглянул, куда показал Ефим, и увидел татарских всадников, которые на низкорослых лошадках крутились на возвышенности.

– Это их дозорные, – сказал Разин, привстав на стременах, затем сурово скомандовал: – Приготовиться к бою! Дозорные, вперед!

- Приготовиться к бою! – как эхо, повторили есаулы, сотники и полусотники.

Первая сотня, подняв пыль столбом, вскоре скрылась вдали, преследуя врага.

*Продолжение следует.*



Виктор СЛАВЯНИН



## Свой крест

Повесть

Продолжение. Начало в №3, 4.

3 мая.

**Я** снова проснулся, как лентяй, в восьмом часу. Солнце путалось в сосновых кронах, пронизывая утреннюю прохладу первым теплом. Капли вчерашнего дождя, не успевшие упасть с хвои, брильянтово ломали солнечные лучи.

Павла Митрофановича не было у кострища. Он сидел на берегу на чурбаке, наблюдая за удилищами, нависавшими над водой.

Я подошёл, поздоровался и присел рядом.

– Бросаете блесну, – сказал старик. – У меня ни одной поклёвки. А щука после дождя должна брать.

– Боюсь, – признался я.

– Чего? – удивился Павел Митрофанович.

И, подчиняясь вчерашнему своему решению, сказал:

– Начну. Войду в азарт. А хочется послушать. Времени может не хватить.

– Чего не успеем, – засмеялся Павел Митрофанович, – вы у маршалов вычитаете... Вы надолго?

– Десятого числа... Обещали в газете статью опубликовать двенадцатого. Хочется купить утренний номер.

– Успеем наговориться... Бросайте. А то голодными останемся.

– Так у нас десяток окуней в садке болтается...

– Совсем забыл, – сказал старик. – Это всё коньяк. – Подтянул к берегу садок из воды. Окунь, оказавшись на воздухе, с шумом стали прыгать... – Ловите. А я постараюсь рассказать... что никому не рассказывал...

– Добро, – радостно согласился я. – Моя щука к ужину, а ваши окуни – на уху.

Мне везло. На третьем забросе – поклёвка. Щука взяла нагло. Одна свеча, другая...

– Вы уж поаккуратней, – с волнительным азартом сказал Павел Митрофанович. – Я за подсачиком сбегаю...

– Не надо. Я так вытяну.

Но старик сорвался с места. Когда вернулся, щука лежала на траве у моих ног и молотила хвостом по земле, подпрыгивала, хватала смертельный воздух двумя рядами острых зубов.

– Вот, Павел Митрофанович, ужин обеспечен, – радостно выпалил я, вытаскивая тройник из зубастой пасти. – Посадим на кукан... Теперь слово за вами.

– Постараюсь, – ответил он.

– Я – не про рыбу... Я – про войну...

– Далась вам эта война. – Он уселся на колоду. Подсачек положил рядом. – Что в ней хорошего?

– Тянет, как запретный плод... А кроме маршалов – никого.

– Когда будете читать, всегда обращайтесь внимание на выходные данные. Там есть странное сочетание цифр и букв. Скажем... а, б, сорок три, двадцать один...

– Это что означает?

– Номер цензора военно-политического управления. Вы в этих мемуарах никогда не найдёте даже намёка, что солдаты ели, как спали в передышках между боями, как их вши сжирали, как умирали от морозов в окопах... Зачем простому человеку знать, что до самого Сталинграда солдату по большому счёту жрать было нечего. Перебивались, кто что ухватит...

– Почему – до Сталинграда?

– Потому что ленд-лиз<sup>1</sup>... Консервы и крупа только американские. В вашем любимом кино все офицеры в белых монгольских тулупах... Цирк, да и только. А в хронику заглянешь: всё генеральское начальство фронтное в чёрных кожаных тулупчиках...

– Для них специально такое шили?

– Это из «студебеккеров»... В России всегда мороз. Вот проклятые империалисты комплектовали каждый «студер» двумя тулупами... Или, как теперь модно, дублёнками... Для шофера и командира машины... Я никогда не видел ни одного шофера в такой одежке. Шинелька или ватничек. А начальство в кожихах «студеровских»... Ватутин<sup>2</sup> даже не постеснялся себя выставить на показ в этом

шофёрском тулупе. – Павел Митрофанович со злостью подсёк поклёвку и принялся вынимать из воды снасть. Крючок оказался голым. – Только и читаешь у великих полководцев: переместили дивизию справа налево, командир такой-то, начальник штаба и комиссар такие-то... – Он принялся нанизывать червя. – Комиссар обязательно. Без него, как вон эта щука без воды. И обязательная фраза: «Я знал этого командира...» – И передразнил кого-то. – «Он был большой души человек!» – А на самом деле напиши об этом человеке правду – и человеком трудно назвать. Души в нём отродясь не было... Никаких слов, кроме мата не подберёшь... Ни одного доброго... Так что советую вам, Юра, читать не маршалов, а простых капитанов и майоров, командиров батальонов, которые чудом уцелели... Они много книжечек написали. Только эти книжечки лежат в сельских магазинах в сибирской глуши да в болотах Белоруссии или Карелии, где доживают эти командиры свой век, забытые разлюбезными маршалами...

– В Испанию не просились? – спросил я.

– Туда только своих посылали. Проверенных. Это как для получения наград... Начальство знает, за какими наградами кого посылать. За Испанию много навешали... А вот за Финскую никому ничего. Если и давали, так втихую, чтоб никто ни гу-гу...

– Почему?

– Потому, как обгадились. Линию Манергейма народом завалили. Людей уложили, как дрова в поленнице. Сейчас приходишь в поликлинику, а там объявление буквами в пол-аршина: «Участники Великой Отечественной обслуживаются вне очереди». А ниже нашкрябано, точно тараканы построены в шеренгу: «Так же участники боев на Карельском перешейке...» Так и жди, что разбегутся таракашки, если света добавить... Кто знает, что за перешеек такой? Упомянуть о Финской войне не очень хочется. Потому – перешеек!

Старик забросил червя в воду. Принялся переоснащать соседнее удилище.

Неожиданно из ближних кустов цокнул, а потом взмахнул зашёлся соловей.

– После Испании геройства в газетах было больше, чем воевавших в той войне. Пели по радио лучше нашего соловья, – заметил Павел Митрофанович. – Помню... в газетах портреты Кольцова, Эренбурга с Хемингуэем... После возвращения славных героев в начальники высшие назначали. А потом к высшей мере... приговорили. Ваши маршалы... которых вы читали... не объясняли?

– А ваше мнение... – спросил я нервно, всё ещё подчиняясь своему щенячеству по привычке. – Почему?

– Постреляли, огляделись по сторонам и поняли, чего затевает их любимая власть. И стали вслух думать. На вечеринках, под спиритик... Как мы с вами сейчас... А от власти это не укрылось. Она с первого своего дня в войне. Только о ней и думает, как юная девица о любовнике. Ведь в семнадцатом году мечтали о мировом пожаре. Главный поджигатель помер. Казалось, о пожаре забыли. Ан, нет. Подспудно, чтоб народ собственный не догадался, про мир во всём мире слюной заходились. А сами готовились... Тихо, скрытно... Которые на виду вроде браво командуют, а в душе ненавидят войну – такие не нужны... Потому главные герои Гражданской войны пошли в расход... Они воевали за власть, но не для мировой бесконечной бойни... Правда, можно ли назвать героем того, кто убил собственного отца и родного брата?..

Колокольчик на удилище цокнул соловьишком. Павел Митрофанович принялся выбирать снасть. Но крючок снова оказался пустым. Старик тяжело вздохнул и, глядя на голую кривулину, сказал:

– Вот потому меня сделали командиром полка...

– По-вашему выходит, что Тухачевского?..

– Думаю, именно потому и расстреляли, – нервно перебил старик, забрасывая снасть в воду. И она с громким шлепком упала, словно по леске передалось настроение хозяина. – Он к войне умело готовился, но воевать не хотел... Это для дурачков – они враги народа. А на самом деле спасители мира... Останься они живыми – никакой войны бы не было...

По стальной поверхности озера долго расходились круги, будто её будоражили слова Павла Митрофановича.

– Вон, Пеньковский, – нервно сказал старик. – Для всех – предатель. А он и ещё кто-то с ним просто не нашли другого способа избавить мир от ядерной войны. Большевики бы быками поёрли, не обломая им рога. – Он повернулся ко мне лицом и, словно угадывая мой вопрос, сказал: – Про такое у маршалов не прочтёте, Юра... Это мне хороший приятель поведал. А разведупру<sup>3</sup> можно доверять. Потому я благодарю Бога, что он избавил меня от всяких там Испаний, Финляндий... От этого позора. Мне хватило войны с Японией. А им не хватает до сих пор! В Афган залезли!.. И попомните мои

слова, Юра, будут воевать до упора, пока последнего нашего пацана там не загубят. А загубленных в запаянных гробах зарюют где-нибудь в таёжной глуши на сельских погостах... И радостно начнут хвастаться этой бойней перед первоклассниками, заставляя детвору глотать протухший патриотизм. Кино геройствующее будут снимать... А слёзы несчастных матерей и отцов утрёт время...

Павел Митрофанович схватился за удилице и подсёк. Лениво стал крутить катушку. Крючок снова оказался голым.

– Мой внук спросил... – Старик взялся нанизывать червя. – «Дед, а правда, ты с фашистами на одном параде маршировал? Подлец хоть и мал ещё, а понимает. Не с немцем, а с фашистом... По его разумению получается, как вроде мы одного поля ягоды.

– Вы что ответили?

– На свою голову рассказал, как всё было на самом деле. А он, голова садовая, в школе всех на уши поставил. Меня даже к директору вызывали...

– Что требовали?

– Чтобы не смел ребёнку говорить, что не положено.

– А вы?

– Что – я?.. А врать положено? А мне: «Мы не врем. Мы воспитываем! Нам не нужны диссиденты»...

И тут меня задело, точно передо мной стоял не директор школы, а Слизкий.

«А милость к падшим у вас преподают?..»

На одном из удилиц зазвенел колокольчик. Павел Митрофанович сделал подсечку и принялся крутить катушку.

– Вот!.. Есть! – Над водой повис маленький окунёк. Он трепыхнулся и счастливо провалился назад.

– И что ответил директор?

– «Это как?» – Старик принялся нанизывать червя. – А вы, Юра, не бездельничайте.

Я бросил блесну и, ожидая, когда грузило опустится на дно, спросил:

– А как же вы войну встретили?

– Как все. Радостно и всенародным восторгом... – изображая горделивость, ответил он.

– Войну с радостью?

– Так во всех газетах и по радио... Маршировал на параде в Белостоке и братался с немцами. И польза была... За участие в советско-фашистском ограниченном контингенте я получил звание капитана и приказ отправиться в город Берз. Спросил – где таковой? Ответили – недалеко. Километров триста южнее...

Оказалось, старый польский городок, теперь уже на границе с Германией. Там – механизированный полк. Назначили командиром батальона...

Городок тихий, причёсанный, как новая игрушка. Два костёла, синагога и православный храм. Ходи, кто куда хочет. В центре – ратуша и рынок. Каждое воскресенье народ в костёл, а оттуда на рынок. Впереди мать семейства, что та гусыня. За ней приодетые, причёсанные дети. А в конце дефиляды папаша... Полдня походят вокруг ратуши, обмениваются новостями и домой. До следующего воскресенья...

Полк разместили в казармах бывших польских кавалеристов.

Дни один за другим незаметно потекли. Жена вскоре приехала...

А когда назначили командиром полка, жизнь словно с ног на голову перевернулась. Голова от забот разламывалась. Если бы не начальник штаба – хоть пулю в лоб посылай...

– О, есть! – выкрикнул я. – У меня на крючок села щука.

– Тяните аккуратней! – приказал Павел Митрофанович и встал рядом со мной с подсачиком в руках. – Не давайте ей делать свечку!

Леса резала воду то вправо, то влево. И у самого берега из воды вдруг вылетела большущая чёрная голова щуки с трясущейся раскрытой пастью и, выплюнув блесну, упала в воду.

– Проклятый день! – выругался я и, чтобы успокоить себя, уселся на чурбак.

– Это да... Всё из рук валится, – сочувственно поддержал старик и уселся на свой чурбак. – В рыбной ловле помощник не предполагается... Но вы, Юра, не расстраивайтесь. Поймаем...

– А начштаб так и остался у вас? – спросил я, как-то сразу забыв о неудачной поклёвке.

– Первые дни мне было приятно и радостно с ним. А потом стала рождаться некоторая неловкость. Приходим домой после службы. Пани Фира накормит нас. Сделаем каждый свои дела... Постираемся... Косаревский сразу садится к окну и при керосиновой лампе книгу читает или пишет в толстой тетради

что-то. Я за столом начинаю листать газету...

Быстро пересмотрел все четыре страницы и вроде как нечего делать...

– А книги читать?...

– У пани Фиры были книги. Но я по-польски и на иврите ничего не понимал. И даже было не привычно листать книгу не справа налево, а наоборот. Как будто и не книга вовсе, а какая-то издѣвка над нормальным человеком...

Уходил из дома. В кино несколько раз на последний сеанс... А то и просто гулял...

Однажды собрался. Ку-Ка спрашивает:

«Какое сегодня кино показывают?» – А сам у окна, читает. Открыл наугад книгу и читает.

«Вчера «Депутат Балтики» показывали. А что сегодня – не знаю... А почему вы одну и ту же книгу читаете? – спрашиваю. – Вчера раскрыли на последних страницах, а сегодня вернулись в начало...»

«Я очень люблю эту книгу. Мне её подарил автор. Мы с ним познакомились на конференции по вопросам современного боя танковых войск... Я её уже выучил наизусть. А самые интересные места просто перечитываю для удовольствия... Рекомендую и вам прочесть... – Закрыв книгу и протянул её мне. – Это гораздо лучше, чем тратить время на всяких там «Депутатов...» хоть от Балтики, хоть от какой другой губернии... А что написано в газетах, нам Склизкий расскажет на политинформации...»

В кино я не пошёл. Уселся за стол и стал читать...

– А что за книга?

– «Полководческое искусство Наполеона» комкора Лепицкого... А на титульном листе красивым почерком написано: «Дорогому Игорю Аркадьевичу от автора. Как я рад, что Вы меня передумали. Лепицкий. 1 декабря 1939 г.»

Я её тоже три раза перечитал... В моей домашней библиотеке и сейчас стоит. Купил по случаю в комиссионном магазине на Арбате в пятьдесят пятом году... Там даже штампик сохранился: «Библиотека Академии им. М.В. Фрунзе»... Теперь внук читает...

Как-то ночью просыпаюсь... Что за чёрт? В комнате полумрак. Горит прикрученная керосиновая лампа на столе. За столом сидит Косаревский и на логарифмической линейке что-то высчитывает.

«Вы почему не спите, Игорь Аркадьевич?»

«Хочу закончить статью для журнала. С генералом Лепицким делился мыслями. Он ухватился за идею. Просил написать. Я пообещал... Неловко подводить... Подумает, что я болтун...»

«О чем статья?»

«Кустовой метод обороны танкового полка в современном бою».

«Зачем нам обороняться? Мы обязаны только атаковать», – возразил я.

«Нет, Паша. Кто не умеет обороняться, тот всё проиграет, даже если для нападения хорошо подготовился...»

Колокольчик звякнул. Но Павел Митрофанович даже не стал делать подсечку.

– Среди вещей Косаревского было много книг. Я их все прочёл. Даже воспоминания Бисмарка...

– А что у Бисмарка хорошего?

– Большая умница. Очень понравилось, как этот угрюмый старик отдал распоряжение начать военные действия с Францией... Перед титульным листом вклеена фотография. Старик в каске с пикой, как на новогодней ёлке. Брови густые, что снопы, усы – глубоченные борозды в стороны расходятся. А взгляд, прямой, острый, без азиатского прищура. Можно верить... Так вот ему доложили, что французы атакуют... и какие будут по этому поводу указания? Бисмарк приподнялся на постели... Он спал до этого... И сказал адъютанту: «Возьмите папку на верхней полке моего шкафа. Там все указания». И продолжил сон, отвернувшись к стене...

Старик сделал подсечку и принялся крутить катушку. На траве оказался небольшой окупёк.

– Сегодня – и это рыба, – равнодушно отметил он. – А Косаревский у меня вроде Бисмарка был. Дела полковые выходили у него уверенно, ладно и споро. Мне казалось – всё видит наперёд, как по книге читает... Я его как-то вызываю и говорю, что у нас проблема... Рассказываю... А он уходит в свой кабинет и возвращается с листочком бумаги, на котором эта самая проблема расписана по пунктам. Читай и делай. Не ошибёшься... А когда пришёл приказ – в Харькове получать танки Т-34, Косаревский предложил ехать не поездом, а на двух автомобилях: взвод охраны с поваром на «ЗИ-Ске» и командиры на «эмке»...

Дома лежим в темноте. Слышу, как тяжело дышит на диване начштаб. Чувствую – не спит. Спрашиваю:

«Откуда вы, Игорь Аркадьевич, знали, что нас за танками пошлют?»

«Всё в этой жизни, товарищ комполка, подчинено железной логике, – отвечает. – Если к границе переместили кадрированную дивизию. Значит?.. Держать пустые казармы у границы не станут. Свято место пусто не бывает. Будут заполнять. Сначала народ пригонят, а потом и танки придут. Готовьтесь...»

Все так и случилось, как говорил начштаба... Только сначала поехали за танками...

\* \* \*

– Выехали затаренные, – сказал Павел Митрофанович. – Полевая кухня на хвосте у «ЗИСа», в кузове провиант и двенадцать бойцов. Два водителя в кабине. В «эмке» я, мой шофёр Амвросий и командир конвоя – старший лейтенант.

В Харькове нам показали от ворот поворот.

По документам – получите сто два танка. А в сбыте говорят:

«Есть только один. Остальные – в январе».

Послал я телеграмму в корпус. Приказали брать один и уезжать.

На погрузку подогнали машину. Внешне – красивая. Дай, думаю, сам загоню на платформу. Что за комполка, если не умеет танком управлять?! Влез через передний люк на место водителя, уселся за рычаги. Осмотрелся по-хозяйски. Кружок давления масла перед носом. Рычаг переключателя скоростей – рядом. Педали на месте... Рычаги не мешают. Включил баллоны с воздухом, запустил дизель... И тут мне стало неудобно. Грохот, запах соляры... Попробовал с нейтральной перейти на первую передачу... На-кась, выкуси! Не хватает сил рычаг коробки передач сдёрнуть... Упёрся в трубку рычага главного фрикциона и давай дергать ручку... А справа на месте стрелка сидит заводчанин. И говорит: «Один не осилишь. Лучше вместе».

А когда танк полез на платформу, он и говорит:

«Вот для того и нужен стрелок-пулеметчик здесь, чтобы скорости помогать переключать». – И смеётся. – И главное... Запомни, как «Отче наш»... Не перепутай первую передачу с четвертой и вторую с третьей. Они парами в одну сторону переключаются... Перепутаешь – коробке хана...

Загнал я танк на платформу.

Пока рабочие его расчаливали, попробовал влезть в башню. Поднял люк, опустился в командирское кресло... И почувствовал себя волом в ярме... Когда забирался в «бэтэшку» или в танкетку, осознал себя бойцом, которому поручили великое дело... А тут... Сидеть в кресле неудобно. Ноги висят над креслом механика-водителя. Нервное движение... сапогом, гляди, башку снесёшь.

Выбрался из башни с нехорошим чувством. И понял: машина – на тебе Боже, что мне не гоже... И подумалось, что эту железку делали или нелюди, или не для людей...

Так это чувство во мне и до сих пор сидит...

– О, есть! – с азартом выкрикнул я, направив всё внимание на озеро. Там далеко блесну снова схватила щука. – А как же воевали?

– Как-как?! – выкрикнул Павел Митрофанович. – Не упустите!

Я нагло выволок щуку на траву и бросил её к ногам старика.

– Вот так и воевали, – сказал он, довольно улыбаясь и снимая рыбу с крючка. Килограммчика два... Война – и деваться некуда... Да, ещё... Под ногами стрелка в днище – люк. Это, если машину подбили, а выбраться нет возможности, то открываешь и... – Павел Митрофанович вжал голову в плечи. – Пробеешь пролезть. Если танк на ровном месте – пролезешь. А если кочка какая под днищем, бугорочек... Люк уперся в землю. И хана! Он открывался наружу... И прозвище у него зловещее – люк героя... – Старик вдруг рассмеялся сквозь стиснутые губы. – Человек в танке никого не интересовал и не интересуется. На месте горящего завтра другая железка с экипажем будут. Незачем голову о человеке сушить...

Я снова забросил и снова – поклёвка. Но щука сорвалась после высоченной свечи.

– Жаль, – посочувствовал Павел Митрофанович. – А была побольше этой... – Уселся на чурбачок. – Солнце после дождя не сильно греет...

– А дальше? – спросил я, не жалея о сорвавшейся рыбе.

– Зачехлили танк и поехали назад. «ЗИС» с кухней, и мы на «эмке».

Едем. И вдруг Амвросий говорит:

«Товарищ командир, давайте скакнём до моей матери в село. Это по дороге. Хитрый, зараза, был мужик... Другой бы сказал: «Заедем в родное село». А то – к матери... К матери не заехать грех...»

«Далеко?» – спрашиваю.

«Километров пять в бок... Между Малинным и Овручем».

«Танк придёт, а нас нет, – усомнился я. – Нехорошо будет».

«Да он неделю в Полтаве простоит, – уверенно заявил Амвросий. – А другую – в Фастове. Попомните мои слова. Вернёмся, и телеграммы отбивать долго будете, товарищ командир... Искать платформу. И потеряют наш танк где-нибудь перед Шепетовкой... А я мать уже пять лет не видел... И братьёв».

«Братьев много?»

«Двое младших».

Вспомнил я своих. Где они?..

У меня снова блесну схватила щука. Она рвала лесу зло, упираясь о воду.

– Вы уж эту не отпустите... – Старик поднялся и, взяв в руки подсачок, встал рядом.

– Не упущу!.. Бросьте эту авоську! Лучше... Что было? – Я выволок рыбину на берег.

– В тот момент у меня в голове две занозы были, – сказал Павел Митрофанович. Радостно стал потирать руки, глядя на щуку, которая плясала на траве. – Килограмма два с половиной... С голоду не умрём... А в голове у меня только танки и девки. Задней мыслью подхлестывал себя: знакомство какое вдруг слепится... И согласился.

Отдал команду «ЗИСу» ехать на Новоград-Волынский, а мы свернули с большака на просёлок.

Ехали долго. То – лесом, то – полем.

«Кажется, уже добрую сотню километров отмахали», – говорю Амвросию.

«Вот за тем лесочком уже...»

Из окна машины картинка – рай сплошной, тихий, беззаботный. Лето давно закончилось. Но осени ещё не видно. Тепло. Всё кругом уже жёлто-красным листом расцвело. Только пыль лёгкая за нами...

А лесочков было ещё с десяток.

Солнце к закату, а мы всё едем...

Село оказалось большое, дворов за добрую сотню. Хаты из брёвен. Не чета нашим глиняным ма-занкам. Дворы выгорожены заборами из тонких еловых жёрдочек.

– А как же голодовка?

– После голода уже семь лет прошло. Кое-как, должно, очухались, отъелись.

– Амвросий ничего не рассказывал?

– Не принято было лишнее болтать. Каждый всё в себе носил. Я знал только, что в армию он в тридцать третьем сам добровольно... Потом и на сверхсрочную остался...

– Может, боялся возвращаться?

– Послушайте, товарищ писатель, – засмеялся Павел Митрофанович, – вы похлеще фронтовых особистов... Даже про ненужное спрашиваете. Остался, да и остался. Может, ему казарма мягче материнской перины?... – Он помолчал и добавил: – Мать его в армию спровадила, чтобы не помер с голоду.

– Извините...

– Приехали. Нас встретил мальчонка лет четырнадцати. На шее у Амвросия повис. Вышла из дома женщина лет шестидесяти. Высокая, грузная, в длинной чёрной юбке и серой кофте. Из-под белой косынки густые седые волосы вырываются. Глянула на меня мельком, кивнула, с Амвросием расцеловалась сдержанно, словно и не сын вовсе приехал, и пошла в сарай.

Принялись мы умываться. Толя, мальчонка, нам воду на шею и спину льёт...

Отодвинулись ворота, и во двор вошёл парень лет двадцати пяти, в большой фуражке, белая рубашка на шее перехвачена серым галстуком, как будто кто шпалы нанизал друг за дружкой. Пиджак серый с пояском. Штаны – белые клёши... Сразу скажешь – городской.

«Борька!» – Амвросий кинулся обниматься и целоваться.

Из Житомира на выходной день брат приехал.

В доме чисто. Железные ходики с цоканьем гонят время. На деревянных полах грубо плетёные дорожки. На бревенчатых стенах фотографии. Между окон в толстой раме одинокая фотография хозяйки. В красном углу пустой киот без лампадки.

Хозяйка поставила на стол большой чугунок с парящей картошкой, гранёные рюмки. Раздала всем по ложке. Сама перекрестилась на пустой киот. И покуда она не присела на лавку, никто из сыновей за ложки не взялся.

Борис принёс из сеней полную сулею<sup>4</sup>. Наполнил три рюмки.

«Мы млодзи, нам бимбер не зашкодзи»<sup>5</sup>, – сказал и поднял рюмку.

Мы выпили.

Больше я от него не слышал ни одного слова.

Когда поели, Амвросий попросил: «Только, а ну возьми гармошку».

Толя юркнул в соседнюю комнату и принёс маленькую двухрядку. Распахнул меха и запел:

*Гэй, наливайтэ повніі чари,  
Щоб через вінця лилося,  
Щоб наша доля нас не цуралась,  
Щоб краще в світі жилося...*

Он запел детским фальцетом. И показалось, что стены хаты раздвинулись.

*Дивують турки, дивують ляхи,  
Як ми те зілля вживаєм.  
А ми вживаєм, щей підливаєм,  
Щоб краще в світі жилося.*

*Турки не можуть, ляхи не вміють,  
Нашу горілочку пити,  
Ми ж будем пити й хрест боронити,  
Щоб краще в світі жилося...*

Мальчик хватал воздух, задыхаясь. Амвросий подпевал баском. Но веселья почему-то не получалось.

Я вышел во двор. После выпитого самогона потянуло курить. Мял в руках «беломорину». А ведь дал себе слово – не пить самодел, как рекомендовал Ку-Ка. Но обижать хозяев не решился.

Стою на крыльце. А из сеней, из-за двери, голос матери: «Ты для чего эту гадыну энкэвэди-скую в хату привёз?»

«Он – не гадина. Не энкэвэдист. Командир полка. Танкист, как и я».

«Чи ты забыл, шо они нашего батьку застрелылы?»

«Я завтра с Борькой на могилу схожу...»

Во двор кто-то вошёл. В полумраке позднего вечера угадывался женский силуэт.

На крыльцо взошла молодая женщина и, увидев меня, испуганно воскликнула:

«Ой!.. А где Арося?»

«Заходите...» – Я застучал каблуками по плахам крыльца, выдавая себя.

Женщина юркнула в дом. Через пять минут вернулась и ушла со двора...

Я слушал рассказ, забыв о рыбалке.

Зазвенел колокольчик на кончике удилица. Павел Митрофанович вытащил пустой крючок.

– Обжирают!.. А вы, Юра, не стойте, – сказал он, бросив на меня взгляд. – Делайте два дела. Слушайте и ловите. А то перестану рассказывать.

Я снова метнул блесну...

– Ночевал я на чердаке большой клуни<sup>49</sup>. Амвросий сбежал, оставив меня одного... А папиросу я выбросил, не закурив. С той поры ни одной в рот не брал...

Утром выехали рано. Мать положила в машину буханку чёрного хлеба, две бутылки молока, заткнутые голыми кукурузными початками, большую луковицу. В тряпочку завернула полдюжины варёных яиц. А в коробке из-под спичек – соль.

За селом Амвросий остановил машину.

«Я схожу?» – спрашивает.

«Иди». – Делаю вид, что не понимаю, зачем остановились.

Через полчаса он вернулся.

Отъехали.

«Ты куда ходил?» – спрашиваю.

«До ветру, товарищ командир».

«Мне врать не надо, сержант Туркот! Так куда ходил?»

«На могилу отца».

«Кладбище вроде не проезжали...»

Амвросий молчит. Ёрзает на сидении. Нога нервно бьёт по акселератору. «Эмка» дергается.

Проехали километров десять в неловкости. Я не выдержал:

«Так я для тебя тоже энкавэдистская гадина?»

«Нет, товарищ командир. Мой отец был коммунистом. Он в Гражданскую свой отряд организовал. После вместе с мамой суём<sup>6</sup> сделали. Был старостой. Все мужики из нашего села с ним работали. Даже из соседнего приходили проситься... В тридцатом прислали бумагу, что ихний суём антипартийный и надо другой делать. Отец в район поехал правду искать. Вернулся. Собрал мужичков и приказал всё общее добро по домам снести и разойтись... Народ не захотел. Чего разбегаться. Если ладно выходит кругом... Отец тогда сам из своего суёма вышел... А через неделю приехали якие-то военные. Отвели отца в овраг за селом и расстреляли...

Там и зарыли... – вздохнул Амвросий. – Вот я на могилку и ходил»...

«За что убили?»

«За агитацию против советской власти...»

«В армию пошёл сам?»

«Мать заставила. «Иди, записывайся... – говорит. – А то и тебя расстреляют... Или с голоду подохнешь».

Павел Митрофанович поднялся.

– Пойду, приму таблетку. – И побрёл к палатке.

Когда вернулся, уселся на колоду и сказал:

– Ехали молча.

По сторонам дубовые перелески, сосновые леса, пустые поля со стернёй и деревни с соломенными крышами, мелкие хозяйские череды из десятка коров – успокоенная безлюдная жизнь...

«Ты где на шофёра учился?» – спросил я, уставший от тягостного многочасового молчания.

«Сам. Случайно, – сказал Амвросий. – Я сразу в пехоту попал. Вторым номером при пулемёте приставили. Мне всё одинаково было... Хоть третьим, пятым-десятым.... На себе станок носил и ленту поддерживал. Ленту поддерживать – не упаришься. А вот станок за плечами – шо та земля на крышке гроба. Пошевелинуться нет никаких сил... Привыкнуть не мог. Як только я не приноравливался прилаживать эту железяку к спине, она все равно легче не становилась. И с каждым днём тяжёльше.

Два года, как тот ишак... Хоть стреляйся...

И вдруг приезжает у часть какой-то полковник. Построили нас пред ним. Он сразу спросил: «Шо-фера есть? Кто умеет автомашины водить?» Вышли трое. А меня точно гедзь<sup>7</sup> укусил. Думаю: «Другого случая избавиться от двухколёсной могильной плиты у меня не буйть!» И шагнул...

Отвезли нас за триста километров в другую часть. Подвели к зелёным машинам... Шоб показали, шо умеем. Те трое, к которым я притулился, сразу кривую магнету<sup>8</sup> в дырку... Крутанули, завели моторы. Они городские были... А я не знаю, з какой стороны к этой железяке и пристроиться. Стою и думаю: «Сейчас под трибунал!.. Так пусть трибунал, лишь бы не пулемётная рота...» Полковник подходит и говорит: «Чтоб через неделю «полуторку» знал лучше, чем жену...» Другой бы кричать стал, ругаться. А наш понял...»

«Выучил?» – спросил я.

«Через неделю, конечно, не успел. А вот через две... Когда полк в Берз переправили, я даже полковника возить стал... как теперь вас, товарищ командир. Вот сейчас приедет – я новый танк выучу. Пригодится».

«А полковник?.. Тот, который до меня командиром был?»

«Он самый...»

У меня снова на крючок села щука. Павел Митрофанович подскочил с подсачеком. Но рыба после двух свечей сорвалась.

– Жалко, – сказал Павел Митрофанович, усаживаясь на свой пенёк. – Амвросий прав оказался. Мы свой танк искали месяц. Посылали людей в Фастов и Шепетовку. Из Фастова за ящик тушёнки отравили... Из Шепетовки – за два...

Павел Митрофанович ещё раз ходил пить таблетки. Было видно, что он волнуется – у него не клевало.

– Заболтались мы с вами, – сказал старик, глядя на часы. – Двенадцатый час, а мы ещё и не затракали. Вы бросайте, а я займусь чаем...

\* \* \*

Завтракали долго. Костёр горел слабо. Вода кипела с ленцой. Да и солнце всё пряталось за серые последождевые тучи, не грея.

– Доехали без приключений? – спросил я заинтересованно и поймал себя на мысли, что становлюсь частью далёких событий.

– Только ступил на порог, – сказал Павел Митрофанович, медленно отхлёбывая чай. – Косаревский обрадовал:

«Завтра пополнение прибывает».

А когда сели за стол ужинать, он сказал:

«Хотите, товарищ комполка, я вас ещё пораду?»

Я глянул на Ку-Ка с некоторой опаской. За короткое время нашего знакомства и проживания под одной крышей я выучился по интонации голоса начальника штаба угадывать потаённый смысл его слов.

«Вы в Харьков... А к нам делегация из политотдела корпуса».

«Опять шпионов ловить?!» – перебил я. Выложил перед Косаревским газету «Известия», которую купил в Новоград-Волынске.

«Нет. Привезли пятьдесят политруков». – Игорь Аркадьевич раскрыл газету.

«И что?» – спросил я со своей крестьянской простодушностью.

«У нас по штату, Паша, – с тяжело скрываемой тревогой сказал начштаб, – полагается двенадцать политработников вместе со Склизким...»

«Переучим в механиков-водителей», – засмеялся я.

«Не успеем...»

«Почему?»

«Война, товарищ командир полка. – Косаревский тяжело выдохнул. – Война... Литву и Латвию подмяли... Вот... – Он ударил пальцами по полотну газеты. – Подписание пакта трёх с целью создания нового порядка<sup>9</sup>. А в Аргентине благодать... Только бастуют докеры...»

Наш разговор перебила хозяйка.

Она вошла в комнату, неся перед собой большой чёрный ящик. Поставила его на комод. На ней была белая блузка с пышным жабо и длинная тёмная юбка. Седые волосы аккуратно прибраны шпильками над ушами.

«Я, пшапгашем<sup>10</sup>, товагици панове войскове... – с привычным волнением сказала Эсфирь Григорьевна. – У меня сегодня очень большой пгаздник... У мой Шая сегодня тридцать лят... Токо ви очень не волнуйтесь. Я всё приговорила...»

Хозяйка вышла и вернулась с большим подносом. Выставила на стол миску с красной свеклой, перемешанной с какой-то зеленью, и блюдо, на котором лежала щука. Графинчик с белой жидкостью, высокую бутылку белого мозельского вина и четыре рюмки.

«Пани Фира, – немного обиженно сказал Косаревский, – почему вы не сказали об этом прекрасном дне вчера? Мы сейчас с товарищем майором сходим в магазин... за цветами...»

«Я, пшапгашем, товагици панове войскове, – сказала хозяйка, недовольно сломав губы. – У склепе<sup>11</sup> на вашый талон ничего нёма. Я ходива на базаж и пгиготовила только очень чуть-чуть цимис<sup>12</sup> и фагшигованный фиш<sup>13</sup>... И немножко кугочка... И я хочу спгосить: и где у нашем гогоде тепег пгодают квяты<sup>14</sup>? Где до вас пгодавались квяты, тепег зачем-то гизэт...»

«Ничего не поделаешь, – сказал Косаревский. – Газеты важнее...»

«Важнее? – спросила с недоверием Эсфирь Григорьевна. Она вышла и, вернувшись с тарелками и приборами, сказала: – Я вам таки скажу, товагици пнове войскове, что когда тут был балабус<sup>15</sup> пан Пилсудский<sup>16</sup>, у склепе пани Гоногаты я покупала мензо, вендлины, родзинки<sup>17</sup> и всякий фиш. И танё<sup>18</sup>. А тепег?.. «Покажите вашый талон». Я показала. И что? Говогят – нёма. Пошла на базаж<sup>19</sup>. Там есть усё. Токо талон никто бгать не хочет... И ваши гизэт тоже никто не покупает. А мне они очень подходит».

«Вам какая нравится? – спросил Косаревский. – «Правда», «Известия» или «Труд»?

«Ой! Я даже не знаю этих названий. Просто пани Гоногата приносит стагый, котогий не купили».

«Зачем вам старые? – спросил я.

«Много бумага. Очень даже хогошо чистить следь<sup>20</sup>».

«На одной стганице – шкуге, на дугой – кишке... Все чисто и аккугатно.

«А последние новости как вы узнаёте?» – спросил я.

«Если что важное, – деловито сказала хозяйка, – мне гаскажет пани Гоногата. А что я вам таки скажу, товагищи панове войскове... У нашем гогоде про всё знают ганьше, чем у вашей гизета...».

В окно постучали.

«Это Ефрем Сабельсон, – сообщила Эсфирь Григорьевна. – Наший доктог. Он пользовал мой мамэ, папэ, мне с мой монж<sup>21</sup> и наш Шая».

Вошёл седоволосый старик невысокого роста в темно-кремовом двубортном костюме и чёрных туфлях. В одной руке он держал канотье, а в другой букет роз....

«Здгавствуйте, панове! – сказал он нерадостным голосом и подозрительно оглядел военных. – Я поздгавляю всех с день гождения догогого Шая».

Когда принялись закусывать, Косаревский спросил:

«Пани Фира, а где сейчас ваш сын?»

«У Вагшавэ. Учится в консерватогии».

«Я всегда говорил, чтобы он стал вгач, – сказал Ефрем. – Ну, если совсем плохо – пговизор. На такое дело тоже можно когмить семья... А клезмер<sup>22?</sup>»

«Это потому, что ты ничего не понимаешь у музыка! – недовольно отпарировала хозяйка. – Увидишь – он станет, как мой бгат из Николаева Соломон...»

«Доктог – это всегда можно кушать», – уверенно сказал Ефрем с каменным лицом.

«Всё у тебя должны токо лечить и кушать! А если никто не болеет? Один гевулд!<sup>23</sup> Себя с утга до ночь кушать таблетка?.. И Шая, как его дядя Соломон, поедет в Амегика и там будет писать музыка...»

«Клезмер – это газе музыка?! – теперь возмутился Ефрем, ковыряя вилоккой рыбу. – Одна стгочка... «Аидиш, шолом алейхем!..» И это на увесь вечег!»

Эсфирь Григорьевна поднялась. Подошла к чёрному ящику, который принесла, подняла крышку.

«И этот человек говорит, что Соломон не музыкант! Это наш годственник, а ты так пго него! Нет! Вы послушайте!»

Выдернула из боковины ящика хромированную ручку и принялась крутить её. Подняла блестящую головку трубы и поставила на вращающуюся пластинку...

Из деревянного нутра полились мягкие звуки женского дуэта на непонятном языке...

«Нет! Ты слушай, Ефрем! – приказала хозяйка. – Это наш бгат Соломон написал. Ты забыл?».

И вдруг в мгновение всё стало узнаваемо:

*Bay mir bistu sheyn,*

*Bay mir hos tu heyn,*

*Bay mir bistu eyner oyf der velt...<sup>24</sup>*

Косаревский поднялся, одёрнул гимнастёрку и, выйдя из-за стола, подошёл к хозяйке. Он наклонил голову и протянул к женщине руку, приглашая на танец.

Эсфирь Григорьевна, как показалось, несколько зарделась, но, сделав ответный книксен, положила руку на плечо майора.

Но музыка вдруг кончилась.

Я подскочил к патефону и снова установил иглоку в начало...

Хозяйка и майор танцевали, я командовал иглой... и чувствовал себя удивительно счастливым человеком...

Хозяйка устало опустилась на стул.

«Вот тепег можно мозелький вино, товагищи Панове войскове, – сказал Ефрем и принялся наливать в фужеры вино. – Скажу я вам, пан Игог, вы, навегное, учились танцам у двогианском собгани?»

«Было» – ответил Ку-Ка.

«Так ви, навегное, ходили у гимназия?»

«Конечно. В гимназию Бродского».

«Так я вас могу спгосить?»

«Если знаю – твечу», – ответил Косаревский.

«Пан Игог... – осторожно сказал Ефрем. – А пгавда, што у вашего Ленина мамэ была мадмуазель Бланк?»

«Зачем это вам, пан Ефрем?» – спросил Ку-Ка улыбаясь.

Старичок помолчал, о чём-то размышляя, и сказала:

«Так говорит пани Гоногата. А я ей вею. Потому что мадам, у котогой был большой склеп, не может говогить непгавда...»

«Да, Бланк, – ответил Косаревский. – Но она православная христианка».

Ефрем с удивлённым прищуром посмотрел на майора и спросил:

«Пан Игог, ви навегное знаете, как называется, тот китаиц, котогый жиёт в гогах, игде Индия? Пани Гоногата говогила... Но я забыл... Ходит у оганжевый сукня<sup>25</sup>».

«Вы имеете в виду буддистов?» – догадался Ку-Ка.

«Таки навегно. Если я изделаюсь этием буддистом?.. Так я уже не евгей?..»

Хозяйка поднялась из-за стола и попросила:

«Ефрем, пойдём за чашкэ. Будем пить хрбата<sup>26</sup>».

Ку-Ка проводил стариков взглядом и шепнул мне, улыбаясь:

«Учитесь логике, Паша! Нет мяса в магазине, потому что у мамы Ленина девичья фамилия Бланк...»

\* \* \*

После такого славного вечера мы забыли про политруков, новобранцев, войну и забастовки.

И, когда уже лежали в постелях, погасив лампу, Косаревский сказал:

«Даровитость бы проверить».

«Что за даровитость?»

«Посадишь гениального дворника за рычаги танка, – объяснил Косаревский, – и считай – конец».

«Научим», – возразил я.

«Долго придётся. Меня сколько ни учили музыке... Отец специально рояль купил... С четырьмя свечами. Поставили в гостиной ... Увы... Хотя я могу чижики-пыжика или собачий вальс клацать на клавишах и для вида на педали нажимать. А вот моя сестра до пола не доставала, а играть выучилась самостоятельно. Как-то прихожу домой из гимназии, а она сидит и «К Элизе»<sup>27</sup> на двух октавах играет... До других не дотягивалась. Ручки короткие... – И сделав большую паузу, с тревогой сказал: – Боюсь, пригонят новобранцев из местных».

«Что страшного?»

«Боюсь, товарищ комполка...» – только и ответил Косаревский.

\* \* \*

– Утро не складывалось, – сказал Павел Митрофанович. – У хозяйки не разжигался примус. Она беспрерывно прочищала иглой форсунку, накачивала давление, но пламя не вспыхивало, а коптило.

Мы появились в полку только в половине десятого.

На плацу перед штабом, разбитые на кучки, точно на когорты, стояли молодые парни. И перед каждой стоял незнакомый мне политрук и читал газету... Чуть в стороне за всем этим наблюдал Слизкий.

«Что происходит?» – с недоумением спросил я.

«Политинформация, товарищ комполка», – ответил комиссар.

«Когда народ прибыл?»

«У три часа ночи привезлы на авте, – доложил он браво. – Из корпуса».

«И с ночи здесь?»

«Вас дожыдаемось».

«Отставить! – заорал я, точно меня кто калёным железом обжёт. – В две шеренги становись!»

Обошёл строй. Бросилась в глаза большая разница в одежде. Одни были в костюмах, белых рубашках с галстуками, шляпах и начищенных ботинках. Другие – в серых косоворотках, чёрных ватниках и нелепых картузах. Один даже босиком. Ботинки, связанные шнурками, болтались, переброшенные через плечо.

«Почему босиком? – спросил я.

«Обещали в Красной армии другие дать. Этие домой возверну. Брат без чуней остался. А зима...»

«Откуда сам?»

«Симбирский. Из Меликесы».

– А которые в костюмах – откуда? – спросил я.

– С новых территорий. Из Лемберга, Станислава, Коломыи.

– Пан начальник, – вспомнил я давнишний послевоенный анекдот о призыве в армию на Западной Украине, который любили пересказывать в редакции, – автоматы нам советская власть даст или свои приносить?

Старик только улыбнулся в ответ и продолжил:

«Товарищ майор, – обратился я к Косаревскому, – организуйте баню. – И, вспомнив, как меня принимал в Орле начальник училища, добавил: – Нет. Сразу всех накормить. Шагом марш в столовую!»

Душа у меня кипела. Сел в кабинете в кресло и чувствую, что если не вырву из нутра злость, наворю каких-нибудь глупостей полный короб...

Вызвал к себе Слизкого.

«Вы понимаете, что нас ждёт впереди?» – спросил я, помня вчерашний разговор с Косаревским. Я старался говорить неспешно, чтобы не выдать свою нервозность.

«Война», – деловито ответил комиссар.

Жар души в мгновение остыл. Его заменил цепенящий холод.

«Как случилось? – подумал я. – Войну видит начальник штаба и комиссар... А я, командир танкового полка – слепой котёнок! – Но возмущение поведением комиссара не исчезло. Оно пролезло сквозь ледяной завал. – Объясните мне, почему вы держали людей на плацу шесть часов? Как это назвать?»

«Я познакомыв личный состав из политрукамы, и мы проводылы политинхвормацию. Так полагаются по инструкции...»

«Вы только что сказали – война... – Я старался выказать уверенное спокойствие. – И после такого к себе отношения командиров эти люди будут воевать? Вместо еды и воды им рассказывают, что немец подписал пакт трёх? Что в Аргентине бастуют? Да плевать им на ваш тройственный союз! Они даже не знают, где эта самая Аргентина! – И не выдержал. И гаркнул: – Они будут вашими газетками отмахиваться от противника?! Запомните! Вся ваша деятельность на территории полка и гарнизона с этого момента будет состоять только из слежки... – Как у меня вырвалось такое слово, я не знаю. Но оно не удивило и совершенно не задело комиссара. Показалось, что он с полным сознанием оценил его точность и своевременность. Оно охладило меня. И уже спокойно и рассудительно: – Чтоб все бойцы были накормлены, обмундированы! И со своими бедами не ко мне, а к батальонному комиссару!... И ещё попрошу... – Я наклонил голову вперёд и сказал в полголоса. – Хотелось бы вас видеть не в штабе... донесения строчить в корпус, а быть на хлебзаводе и в столовой! И если вы, товарищ комиссар, не хотите учить немецкий и устройство танка, то побеспокойтесь, чтобы плац был всегда выметен. Это лицо полка. И вы теперь за это отвечаете... Это просьба и приказ!»

Я, наверное, долго ещё выговаривал Слизкому, но в кабинет вошёл Косаревский.

«Вот как хорошо, что все собрались, – сказал он. – Начнём назначения. Филимон Кузьмич, принесите личные дела. Будем с каждым бойцом работать индивидуально. Вы у себя в кабинете. Я – у себя...»

«Слава Богу, – подумал я о комиссаре с благодарностью, – не спросил у меня, где находится эта дурацкая Аргентина?..»

Мы сидели у стола, и выходить к берегу ни у меня, ни у Павла Митрофановича не было желания. Я глянул на часы. Наш завтрак дотянулся до двух часов.

– Жизнь потекла скучная, – сказал старик. – Каждый день занятия... Я словно в танковую школу вернулся. С утра в Красный уголок немецким языком с начштаба разговаривать, а после обеда в комбинезон – и в единственный танк.

Матчасть. Теория стрельбы...

На двадцать шестых машинах поротно на полигон к Раве-Русской мотались... Вот не помню, как она тогда называлась... А может, так и называлась?

К Косаревскому дважды приезжала жена. Первый раз со старшей дочкой. Потом – с младшей. По неделе гостила. Я ужинал с ними. Хозяйка старалась угощать вкусно – делала совершенно неповторимый фаршмак<sup>28</sup>. А ночевал в полку. Мне бойцы койку организовали в Красном уголке. И пока я там спал – никаких политзанятий...

А в январе пришли шесть эшелонов. Сто две «тридцатьчетвёрки» и тридцать «кавэ». Зенитки, восемь пушек для артдивизиона... Полный комплект понтонной роты... Броневики... Для полного счастья не хватало только красного бантика... В общем, кое-как перезимовали...

– А почему кое-как? – спросил я, чувствуя, что за этим «как» прячется что-то интересное.

– На Волини морозы, конечно, не сибирские, но натерпелись... Казармы топились плохо... В штабе холод... Пришлось для караульных валенки специально из округа привозить. В сапогах ноги отмораживали бойцы.

Мы на службе. А хозяйка волновалась. Перед первыми морозами она пришла с ужином и беспокойно стала говорить:

«Я пшапгашем, товагици панове войскове... Если ви думайте, что вам бенде<sup>29</sup> тёпло на зума, так ви очень-очень делаете не пгавильно».

Мы с удивлением посмотрели на хозяйку. Говорили о чём-то своём.

«Как тут быв пан Пилсудский, я ходива на базаж и за пенёнзы<sup>30</sup> бгала угли на зума. Их много пгивозили из Забже. И у меня быво усегда тёпло. А тепег за угли надо ходить до советский солтыс<sup>31</sup>. Я ходива. Сказали, шо угли не бенде. У Донбас нету угли... – Она с трагическим жестом развела руки в стороны. – Дали бумажке на тги газмег дгови... Так я пшапгашем, товагици панове войскове... И как делать вам тёпло, если у меня усё у доме сделано для угли? «Юнкерс»<sup>32</sup> всегда гудел и гогачий вода в клозете был...»

«Мы утром принесём воду, пани Фира», – сказал Косаревский.

«Ганьше никто никуда не ходил, – с недовольным раздражением сообщила хозяйка. – Вода быва у руре<sup>33</sup>... А тепег панове войскове ходют, как холопы... И пшапгашем, панство... вы не сможете читать ваши гизета».

«Почему?» – спросил я.

«До вас у мене висел электгичество. – Эсфирь Григорьевна ткнула пальцем в абажур, под которым горела керосиновая пятилинейка. – Вчега ходива у склеп пана Коган а купить ропы<sup>34</sup>. И что?.. – Она снова развела руки трагически. – На джви<sup>35</sup> написано: «Кагасина нет и не известно!» И где тепег пан Коган, я вас спгашиваю?...»

Она вышла в кухню, и когда вернулась с чайником в руках, спросила серьёзно:

«Пани Гоногата говогила, што вашие Тгоцкий, Зиновиев – евгей?»

В этот момент кто-то постучал в окно.

Хозяйка ушла на зов. Вернулась минут через десять. Её лицо улыбалось, казалось, будто чуть заметные ниточки-морщинки куда-то вдруг пропали.

«Ой, какой хогоший новость!»

«Уголь привезли?» – спросил Косаревский.

«Знаете, хто пгиходил, панове? Ефгем Сабельсон».

«Пригласили бы в гости», – предложил Ку-Ка.

«Он сам пгишёл пгиглашать на день гождения... Ой, это такой гадость, такой гадость... Он весь улыбается тепег. Ему вчера стало восемьдесят шесть лят. Наший гадальник, что сидит на базаже, сказал пго него, что Ефгем умгёт в восемьдесят пять. Он очень боялся, што так бенде, когда его агестуют вашие... У Москве гастгеляли его годственника. Мы про это в газета читали, и гадиво говогило... Ефгем очень боялся. А тепег в восемьдесят шесть ему уже ничего не стгашно. Он кушает хогошо и спит до самый утго... Плохо, что до него никто не ходит тепег... Усе бояться... Только я до него и он до мне».

«А как фамилия родственника?» – спросил Ку-Ка.

«Радек»<sup>36</sup>, – прошептала Эсфирь Григорьевна.

Сообщив, она ушла, улыбаясь.

«На Лубянку, в кабинет, – сказал Косаревский, оглянувшись на дверь, за которой скрылась хозяйка, – к следователю привели побитого арестованного... – «Как фамилия? – спрашивает следователь. – Рабинович, – отвечает. А следователь ему: – Тот Рабинович, которого мы арестовали вчера, не ваш родственник? – Нет, нет! Даже не однофамилец!»

Я прыснул со смеху. А Ку-Ка остался сидеть с каменным лицом, только подло улыбаясь глазами...

– Конечно, лясы точить – занятие не самое тяжёлое, – сказал Павел Митрофанович. – Давайте готовить обед. К вечеру поспеет. Я предлагаю сегодня сделать щучьи котлеты. А окуни пусть ещё денёк поболтаются в воде. Завтра тоже может быть дождь. Ноги ломит. Пойду выпью таблетку. Знахари говорят о магнитных бурях. Даже не знаю – верить им или не верить... Принесите, Юра, большую щуку.

Я принёс.

Старик принялся разделять рыбу. Распластал тушку на два больших ломтя, отделив хребет.

– Наезжали комиссии с проверками, – сказал он, лихо сдирая со щуки кожу. – Раз в месяц. Я и Косаревский получали инспекторские пинки и подзатыльники.

– Показывали плохие результаты подготовки? – спросил я.

– Да народ, как мне казалось, тупой попался, – сказал Павел Митрофанович. – Долбишь, долбишь...

Специально из корпуса привезли двигатель. Разобрали на детали... Чтоб каждый пощупал. Показываем, как заряжать, как пользоваться прицелом. А впечатление складывается, что эти люди ничего не понимают. На танк, как на телегу смотрят. Я что знал и умел – рассказывал и показывал.

А как проверка из корпуса – всё через пень-колоду. Будто специально. Потом вроде получаться стало. Но не сильно.

Еду как-то из штаба дивизии. Я там получил обычный нагоняй. И в сердцах жалуюсь Амвросию: «Что за народ? Ничего не понимают! Дробязке два часа рассказывал, как устроен стартер и генератор. Всё без толку!»

Был у нас парень по фамилии Дробязко. Красавец черноглазый. Весь санбат умирал. На вид умён. А как до техники – дурак дураком.

Амвросий слушает меня и смеётся.

«Мы з вами, товарищ майор, должны были ещё три дня назад быть в дивизии, – ответил Амвросий. – Не ездили, что «эмка» не работала. И сегодня не поехали, если бы не боец Дробязко... Я три дня копался у моторе. Не заводился. А Дробязко подошёл, покумекал и говорить: «На генератор не подаётся напряжение». Я полез. Так и есть. Провод отвалился и на корпус замкнул... А вы... тупые. И вообще, товарищ комполка, токо вам... – осторожно сказал Амвросий. – Не очень вдвляйтэсь. Не будут они за большевиков воювать...»

Павел Митрофанович разложил на колоде два большущих куса щучьего мяса. Погладил ласково.

– Давайте, Юра, большой нож, – попросил он.

– Топором порубим.

– Топором не удобно рубить. Много щепок из колоды вылетает. Да и грубое мясо получается. Для котлет нужно мелко кости поломать. Тогда их не заметишь.

– Давайте вместе. – Я достал нож, подтянул к себе половинку. – И что дальше?

– Рубите сначала вдоль, а затем поперёк...

– Да я не про котлеты.

– Так оно и вышло потом, – сказал старик, лихо орудуя ножом. – Как сказал Амвросий, так и вышло...

А после Нового года вдруг привезли из округа генерала с четырьмя звёздами. Что приедет, говорили давно. Ждали. Готовились. Дивизия прислала скатерти и трёх официанток. В столовой мы поили инспектора водкой...

А в феврале приказ из округа: «Никому из части ни шагу». Отъезд только по вызову штаба дивизии или корпуса». Третьего мая новый приказ: «Выехать в лагерь». Десять километров в сторону границы. В начале июня самый непонятный приказ: «Прибыть в дивизию личным составом побатальонно. С шинелями».

Погрузились на «ЗИСы». Приехали. Сразу всех на склад. Старую форму отобрали, выдали новёхонькую. Парадную. Сапоги яловые. Даже бойцам. Все чистые и ухоженные, что те пасхальные яйца...

Неделю возили переодеваться...

Среди бойцов ползали разные догадки. По одним – в корпус приедет сам нарком Тимошенко. Самый дальновидный предположил, что через Раву-Русскую в Москву на авто будет ехать Гитлер... чтобы по душам поговорить со Сталиным.

Я, глядя на ловкие движения рук старика, понял, что моё участие в приготовлении котлет излишне. Принялся разводить костёр.

– А как народ реагировал на ваши манёвры? Или всё делалось секретно?

– Секретность в маленьком городке – для очищения совести, – сказал Павел Митрофанович. – Обо всём, что делается в полку, знала в Берзе каждая собака.

\* \* \*

На сковороде кипело масло. Павел Митрофанович обволакивал котлеты в муке и укладывал на сковороду.

– По срочной телефонограмме я и Косаревский выехали в штаб дивизии, – сказал он, переворачивая котлеты. – Оттуда в штаб корпуса.

Приехали. А во дворе «эмок», как окуней в садке. От каждого полка по машине.

День был такой же ветреный и дождливый. Очереди ждали два дня.

Вызывали в кабинет командира корпуса по двое. От каждого полка отдельно. Сам генерал наставлял в присутствии начальника штаба и бригадного комиссара. Про обстановку рассказал. Положил перед нами на столе два конверта. Красный и серый.

Выслушали инструкцию: конверты вскрыть только по спецприказу. А спецприказ зашифрован под кодовым названием «Гроза». И ещё какие-то слова, похожие на пароль. Чтоб какому дураку не почудилось с бодуна чего случайно.

Начальник штаба корпуса положил на стол две бумажки и говорит:

«Распишитесь...»

Подхожу и читаю на чистом листе знакомые цифры... Сто десять двенадцать девяносто восемь. Вопросов уже не задавал. Расписался...

Ку-Ка тоже поставил подпись на своём листочке.

Конверты вложили в парусиновый мешочек, перетянули дратвой горловину и сургучную печать приляпали. Заставили упрятать в портфель.

«Без приказа не вскрывать, – добавил бригадный комиссар. – При опасности попадания конвертов в руки врага... уничтожить. Головой отвечаете оба».

«А лучше сдать в особый отдел в мешке», – сказал напоследок какой-то полковник.

– Какое это было число? – спросил я.

– Семнадцатое или шестнадцатое июня, – ответил Павел Митрофанович. – Едем назад. Охота обсудить происходящее. Но молчим. Так и промолчали до самого дома.

Приехали далеко за полночь. Ещё часок – и восток начнёт белеть.

Въехали в город... На улице ночь, а в домах пылают окна.

На порог. А хозяйка с воплями:

«Такое гоге! Такое гоге! Увесь гогод уже боится! Хогошо, шо ви уже пгиехали!

«Что случилось?» – спрашивает Косаревский.

«На другой день, как ви уехали... – Эсфирь Григорьевна говорила, задыхаясь, и бегала из кухни в комнату и назад, укладывая в большую сумку пожитки. – За вами поехала страж погранична<sup>37</sup>. Цельных десять тенжарке<sup>38</sup>...»

Мы переглянулись с Косаревским. Когда ехали в штаб дивизии, нам навстречу попалась колонна грузовиков с тентами.

«А на дгугой день от гегма́на пгибежала молодая пани, – волнуясь, заговорила Есфирь Григорьевна. – У ней тут тёткэ жие. Возле костюва. Она тёткэ сказала, что у воскгесение бенде вóйна... Так тёткэ побежава до ксёнза. А тот удагил у дзвон...»

«И это всё?» – спросил Ку-Ка.

«У костюв приехал на самохуде<sup>39</sup> вашый командир и два жовнежа. Пгиказали пегестать дзвонить. Схватили эту пани... И застгелили! – Хозяйка снова ушла в комнату и вернулась, держа в руках меховую жилетку. Принялась запихивать её в мешок. – А учега пгиходил из той сторона молодой пан... На базаже сказали, шо он прямо до вас у войско ходил...»

«И что?» – тревожно спросил я.

«Его тоже застгелил вашый командиг».

«Вы ничего не путаете? – спросил Ку-Ка, думая о чём-то сосредоточенно. – И куда вы собираетесь, Эсфирь Григорьевна, на ночь глядя?»

Хозяйка посмотрела на нас, кривясь недовольной улыбкой, и возмущённо спросила:

«Разе ви не знаете, шо герма́н усех евгеев у Польше убиваит?! – Она прочла на моём лице искреннее недоумение. – Это токо ви не знаете! А у нас у гогоде об этом знает кажный пес! Если ви, як новые балабусы позабигали у людей гадиво, когда пгишли, так думаете?...»

Не договорив, она ушла на свою половину. Вернулась, держа в руках небольшую шкатулочку, перетянутую голубой тесьмой.

«И я таки скажу тепег! – чуть ли не выкрикнула Эсфирь Григорьевна. – Ви нас пгодáли Герма́ну! Вашый Молотов с их Риббентропов пили шампанское!.. Нет, ви не шампанское пили! Ви торговали евгееми!.. И моим... Шая! – Хозяйка вдруг закрыла лицо руками и громко зарыдала. – И зачэм ви есть издесь на этот свет!? Ви усех убиваете! Зачем нам вашый вóйна?.. А мой бедный Шая у Варшаве... Я его уже два года не выдава... Газе может человеку нагавиться убивать дгугого человека?..»

Хозяйка снова ушла на свою половину. Вернулась с двумя шляпками, украшенными чёрной вуалью. Бросила их в сумку и, как будто о чём-то вспомнив, заговорила:

«Ваший Тгоцкий, Зиновьев, Сабельсон и сыночек мадмуазель Бланк – евгеи? Я таки скажу – совсем даже нет! Совсем! Если бы они были настоящий евгей, никогда не делал бы валка... А мой Шая хотел ехать учиться у Москва... А поехав до Варшаве. – Старуха Эсфирь громко зарыдала, глотала слёзы, как спасительное лекарство. – Я два года не знаю, что из ним!..»

«А куда вы собираетесь? – спросил я, глядя на сумку и мешок с вещами.

«Ухожу. Я не хочу вашей война!..»

Павел Митрофанович выложил котлеты в миску.

– Варим рис, – предложил он.

Вечер заглянул на поляну не по-майски скоро. Обедали при керосиновой лампе.

Когда съели по паре котлет, старик вдруг по-детски возмутился:

– А почему вы так сидите, Юра? У нас повод. Ваша щука.

Мы налили коньяк.

– И что с комиссаром? – спросил я

– Это завтра... – старик выпил. – Откат нормальный!

\* \* \*

На небе не было звёзд. Оно чернело, сливаясь с кронами сосен. Соловей молчал... Стал пробирать холод. Я сходил в палатку и надел свитер. Подбросил шишек в костёр. Пламя быстро прогрело вигвам.

Поставил на мангал чайник.

Павел Митрофанович вышел из палатки. Уселся, закутавшись в плащ.

– Думал, засну... Так о чём я? – сказал, не ожидая моего вопроса. – На чём остановились?.. Ну, да... Не сговариваясь с Косаревским... сорвались. Почти бежали. Ночь такая же непроглядная... Обычно тёмные улицы казались освещёнными... Из окон домиков вырывался отчаянно-яркий свет. Самое удивительное – из подворотен почему-то не лаяли собаки...

В полку было пусто. Все, кроме тыла, в лагере. Мы влетели, как на пожар.

«Где товарищ батальонный комиссар?» – спросил я у дежурившего в штабе старшего лейтенанта из понтонного батальона.. Вид у меня был, наверное, очень свирепый, потому что у бедняги задрожали губы.

«На... На... верное, у себя дома, товарищ компалка. Отъезд в лагерь не записан».

«Всех командиров, дежуривших последние три дня в штабе, – ко мне. И пошлите за комиссаром!»

Я взялся листать журнал. Но никаких записей о расстреле не нашёл.

Первым прибежал старший лейтенант взвода ранцевых огнемётов. Он спал в домике для командиров-холостяков.

«Что произошло с поляками!» – потребовал я.

«Так очень просто, – еще продолжая спать, начал лейтенант. – Зазвонили на площади... как на пожар. Товарищ батальонный комиссар взял из комендантского взвода двух бойцов и на броневомobile уехал. – Он сладко зевнул. И, на мгновение проснувшись и поняв, что стоит перед командиром полка, лихо стал рапортовать: – Привез в штаб женщину. Девку. Лет двадцать пять. Долго её держал у себя в кабинете. Потом отвёл на хоздвор...»

«Почему это не отражено в журнале?» – Я с трудом сдерживал себя, чтобы не заехать кулаком в равнодушную рожу лейтенанта.

«Товарищ батальонный комиссар запретил», – без всякого угрызения совести ответил лейтенант.

«Ты захотел под трибунал, лейтенант? Не занесение в журнал... Второго расстреляли при тебе?»

«Нет. Я не знаю, кто дежурил».

«Куда девали тело женщины?» – спросил Косаревский.

«Товарищ батальонный комиссар приказал отвезти в больницу».

«Кругом! Пошёл вон отсюда!» – не выдержал я...

Чайник на костре застучал крышкой, закипая.

– Вы что? – спросил Павел Митрофанович. – Я чай.

– Я тоже... Вместе с вами...

Поднял с земли бутылку коньяка.

– «Нет, ребята демократы, только чай...» – отмахнувшись, сказал старик. И продолжил, наливая в

чашку кипятков: – Я выскочил в коридор и стрельнул у дежурного папиросу, – сказал Павел Митрофанович. – Как ошалевший втягивал дым... Голова от табака мигом пошла куролесить... Отвык от дыма... Стоял и, затягиваясь, решил – выпущу всю обойму в комиссара...

– А комиссар? – спросил я.

– Появился через час, – ответил старик. – Как с гуся вода...

«Вызвали?»

«Что вы себе позволяете! – закричал я. – Кто позволил убивать?»

«По привычке», – заметил Косаревский. Он стоял у окна и смотрел в тёмный двор.

«Эти поляки – провокаторы, – деловито объяснил Слизкий, даже не удивившись моему возмущению. – Нагоняют панику. А мы допустить этого нэ можэм. Потому шо приказ – нэ допускать».

«Чей приказ?!»

«Политотдела фронта и корпуса», – спокойно объяснил комиссар.

«Как вы сказали, товарищ комиссар?.. Фронта?» – в некотором возбуждении спросил Косаревский, отойдя от окна.

«Почему вы принимаете на себя права командира полка?» – спросил я, не особенно вдумываясь в смысл словесной перепалки комиссара и начальника штаба.

«Потому что я – парторг «цэка»...

Павел Митрофанович аккуратно размешал сахар в кружке. Попробовал.

– Нормально. Всё стараюсь не переборщить...

– А это что за должность в полку? – спросил я.

– Я уже не помню, – ответил он серьёзно. – Их так называли в политотделах... Но именно это сорвало мои тормоза... Я крикнул Косаревскому:

«Расстрелять! Напишите приказ!»

Я заметил, что у Слизкого в глазах стал замерзать страх, как студень на морозе. Должно, комиссар впервые понял, что с ним не шутят. Подскочил к столу и схватился за телефонную трубку. Она выскользнула из рук и упала на пол. Нагнулся, чтобы поднять.

Но я крикнул:

«Отставить! Вон отсюда! Рапорт о самодурстве на стол немедленно!»

Я упал в кресло и обхватил голову руками. Табак выветрился, но боль и мусть в сознании не исчезли... Чувствовал, как сердце пульсирует в висках...

«Товарищ комполка, – сказал Косаревский, – позвольте мне отлучиться. С Амвросием на автомобиле».

Я кивнул, соглашаясь, совершенно не задумываясь, с какой целью начальник штаба выпрашивает у меня моего личного шофёра с машиной. Было не до того. Передо мной плыли лица тех двух несчастных, расстрелянных комиссаром, таких знакомых, будто я с ними прожил полжизни. Их сменили, смешиваясь в круговерти, лица моего отца и матери, Киры и её сына... Годовалый ребёнок на телеге...

И понял – в их горькой судьбе виноват и я...

Старик подлил в чашку кипятков.

Я налил себе коньяк. Выпил и запил горячим чаем.

– Котлету бы взяли, – сказал Павел Митрофанович. – Коньяк... чаем?

– Теперь так носят... – попробовал отшутиться я. – А куда сбежал ваш Ку-Ка?

– Косаревского не было весь день. Он вернулся только к вечеру...

– А какое это было число? – Снова налил себе коньяк. И спросил: – Может, всё-таки чуть-чуть?

Что-то костёр слабо греет.

– Нет, нет, – чётко ответил старик. – А число, как сейчас помню – восемнадцатое июня было... Я ещё сидел у себя в кабинете... Появился нервный, дёрганный. Ничего не объясняя, сказал, что надо срочно передислоцировать полк... на пятнадцать километров ближе к границе.

Я спросил:

«Зачем?»

«Чтобы остаться живыми...» – Косаревский положил передо мной большой лист бумаги, где карандашом была изображена какая-то схема из множества квадратиков и пересекавшихся линий-стрелок.

«Это что?» – спросил я.

«Помните, я писал для журнала статью. Так это она вживую... Вы, я уверен, помните, как на занятиях в училище вам рассказывали организацию обороны танкового полка?»

«Мы в основном атаковали... – ответил я. – Помню, конечно».

«Тогда повторять мы не будем. Я вот на что обращаю внимание... Была одна особенная оговорка, помните: «Любыми средствами не допустить прорыва линии обороны! Если экипаж танка увидел прорыв на соседнем участке, обязан нанести удар по прорвавшемуся танку противника, чтобы помочь товарищам».

«Совершенно верно, – ответил я, удивившись точности формулировки. – И что из этого?»

«А из этого следует, – Ку-Ка разгладил ладонями морщины на листе, – что ставить оборону в линию нельзя!»

«А как же устав?»

«Да плюньте вы на устав! Воюют не уставами, а числом оставшихся в живых... Если мы выстраиваемся в линию... После первого же залпа все наши огневые точки засекает наблюдатель противника... Правильно? И в какое-то место концентрирует огневой удар... Наши огневые точки подавлены... Образуется брешь... И в нее можно бросать целую армию. Остановить ее не получится...»

«Почему? – возразил я. – Вы же сами сказали, что устав требует поддержать товарища...»

«Абсолютно верно. Но на прорвавшихся смотрит один ствол справа и один – слева. Потому что стоим в линию... А что можно сделать двумя пушками. Ничего!

«И что вы предлагаете?»

«Мы организуем оборону не линейно, а кустами и ступенчато... – Косаревский выдернул из папки, что лежала на столе, чистый лист и принялся рисовать карандашом. – Мы ставим танки кустом. Один «кавэ», а рядом с ним четыре «тридцатьчетверки». И две-три «сорокопятки» Расстояние между кустами метров двести-триста. «Сорокопятки» дают первый залп... Все синхронно, по команде. При первом залпе с нашей стороны неприятель сразу определяет координаты орудий. И с радостным удивлением устанавливает, что мы – абсолютные идиоты. И какое же вы, товагищ пан командиг, – передразнил Ку-Ка Эсфирь Григорьевну, – приняли бы решение на месте командования противника?»

«Бросил бы танки в прорыв на неприкрытом участке...»

«Совершенно верно, товагищ пан командиг. Установив факт, что между противотанковыми гнездами расстояние триста, а то и четыреста метров, уверят себя, что у обороняющихся... То есть у нас с вами очень мало стволов, и потому они поставлены с таким большим интервалом между собой. И бросает в пустое пространство между ними танки прорыва... И как только танки прорыва вошли в пространство между кустами... сразу получили удар из десятка стволов прямо в борт... И карты биты, батенька!.. Их не спасает даже толстенная броня... Потому что она не участвует в бою... И весь прорыв расстреливаем, как из пулемёта. Атака псу под хвост!»

«А друг друга не перестреляем? Расстояние между «кустами» триста, а дальность боя у танка до километра...»

«Отворот башни не более пятидесяти градусов... чтоб не зацепить своих».

Я находил в словах Косаревского здравый смысл. Но война мне казалась невозможной, хотя, как военный, обязан был жить только ею.

«Мне нравится, – признался я. Но добавил с сожалением: – Мы же все свои действия обязаны согласовывать чуть ли не с округом. А с дивизией – каждый чих».

«А мы и спрашивать не станем. – И, должно прочитав в моих глазах сомнение, добавил: – За всё отвечаю я».

«Единственное успокоение, – ответил я, понимая, что делаем непозволительное, – что под трибунал пойдём вдвоём».

«Амвросий довезёт, – деловито заметил Косаревский.

«Хоть не скучно будет ехать до кутузки в Шепетовке».

«Даёшь согласие, товарищ комполка?»

«Собирайте комбатов и командиров рот, – согласился я. – Объясните, чтобы понимали, как действовать и зачем...»

Собрали командиров в Красном уголке. Косаревский быстро рассказал о новой схеме обороны. Поставил задачу.

«Линия обороны будет тянуться от болота... Качинога озера. Это справа. Слева у нас будут позиции соседнего полка, – объяснил начштаба. – Попрошу командиров отнестись к организации обороны очень серьёзно. Все комбаты получают план-схемы. – И раздал за ранее расчерченные листочки. – Всякие мелочи решать самостоятельно!»

Я отдал приказ менять позиции...

Командиры ушли. Я отправился в кабинет. Через пять минут влетел Склизкий и закатил истерику:

«Вы шо делаете!? Вы нэ маєтэ права! В округе знают, где мы! И без согласования в такой международной обстановке!.. Я обязан срочно доложить в политотдел...»

«Докладывайте, – сказал я. – И обязательно напишите о расстреле поляков. И добавьте, что вы за это приговорены к расстрелу приказом командира полка...»

\* \* \*

Покидали лагерь в ночной темноте...

За трое суток успели зарыть танки в капониры. На фланги и в центр поставили «кавэ». Образовали фронт километров пять... Почти под землю загнали штабной автобус и обнесли его крепким валом. Над ним лишь настороженно торчат рога стереотрубы, как у зайца уши... Протянули связь между батальонами. Только мой командирский танк присыпали ветками для порядка...

Приказ боевому охранению – любого подозрительного под микитки и в штаб...

Старик подбросил в костёр шишки.

– Вот так мы и закончили, Юра, мирную жизнь, – сказал он. – Пойду полежу... Что-то не греют меня воспоминания... А вы налейте в термос кипяточку...

*Продолжение следует.*

### Примечание:

<sup>1</sup> Ленд-лиз — поставки оружия, продовольствия и сырья в рамках антигитлеровской коалиции в СССР из США и Англии.

<sup>2</sup> Ватутин Н. Ф. — генерал армии, в 1942 г. командующий Воронежским и Юго-Западным фронтами.

<sup>3</sup> Главное Разведывательное управление генштаба СССР.

<sup>4</sup> Сулея — трехлитровая бутылка, четвертая часть 12-литрового мерного водочного ведра, в простонародии — «чет-верть».

<sup>5</sup> Мы молоды, нам самогон не повредит (польск.)

<sup>6</sup> Суём — сейм, артель (зап.-рус.)

<sup>7</sup> Гедзь — овод (укр.)

<sup>8</sup> Кривая магнета — заводная ручка автомобиля (жарг.)

<sup>9</sup> Пакт трёх, с целью создания нового порядка...

<sup>10</sup> Пшапрашем — извините (польск.)

<sup>11</sup> Склеп — магазин (польск.)

<sup>12</sup> Цимис — национальное еврейское блюдо из моркови.

<sup>13</sup> Фиш — рыба (идиш)

<sup>14</sup> Квяты — цветы (польск.)

<sup>15</sup> Балабус — хозяин (идиш)

<sup>16</sup> Пилсудский — первый президент независимой Польши после 1917 г.

<sup>17</sup> Мендзо, вендлины, родзинки — мясо, копчености, изюм (польск.)

<sup>18</sup> Танё — дешево (польск.)

<sup>19</sup> Базаж — базар, рынок (польск.)

<sup>20</sup> Следь — сельдь, селедка (польск.)

<sup>21</sup> Монж — муж (польск.)

<sup>22</sup> Клезмер — музыкант, исполняющий народную еврейскую музыку в составе импровизированного ансамбля (иврит)

<sup>23</sup> Гевулд — скандал (идиш)

<sup>24</sup> Для меня ты самая прекрасная, Для меня ты единственная во всём мире... (идиш). Знаменитая песня Соломона Секунды «Бай мир бисту шейн» для бродвейского мюзикла

<sup>25</sup> Сукня — свободная накидка (польск.)

<sup>26</sup> Хрбата — чай (польск.)

<sup>27</sup> Бетховен Л. «К Элизе».

<sup>28</sup> Фаршмак — блюдо из селедки (идиш)

<sup>29</sup> Бенде — будет (польск.)

<sup>30</sup> Пенёзны — деньги (польск.)

<sup>31</sup> Солтыс — глава муниципального образования (польск.)

<sup>32</sup> Юнкерс — здесь, газовая водогрейная колонка

<sup>33</sup> Рура — труба (польск.)

<sup>34</sup> Ропа — керосин, соляр, (польск.)

<sup>35</sup> Джви — дверь (польск.)

<sup>36</sup> Радек Карл (Карл Сабельсон) — деятель верхушки ВКП(б), убитый в лагере в 1938 г.

<sup>37</sup> Страж погранична — пограничники (польск.)

<sup>38</sup> Тенжарка — грузовик (польск.)

<sup>39</sup> Самохуд — автомобиль (польск.)

Олег ЦУРКАН



## Чистый лист

Рассказ

*Что-то ничего не пишется,  
Что-то ничего не ладится...*

В. С. Высоцкий

**Б**лизился юбилей великой Победы. В канун праздника по российскому телевидению во множестве показывали документальные и художественные фильмы о Великой Отечественной войне, транслировали праздничные выступления военных оркестров, передавали, посвящённые войне, аналитические передачи с участием видных российских политиков и историков.

Одну из таких передач тележурналисты посвятили разбору деятельности известных полководцев Второй мировой войны, сравнивая личные качества военачальников и оказанное ими влияние на ход мировой истории. Ведущий телепрограммы, вертлявый молодой человек,

высокомерно иронизируя по поводу военных талантов советских генералов, упорно подчёркивал, что Вторую мировую войну СССР выиграл в большей степени благодаря только численному превосходству Красной армии над немецкой. «Трупами завалили», – спокойно заключал ведущий и приводил в пример слова Бисмарка, который якобы завещал немцам никогда не ввязываться в войну со странами, численность населения которых превосходит население Германии. Со слов тележурналиста выходило, что войю фашистская Германия хоть с Китаем, итог войны был бы тот же. Приглашённые в программу гости на повышенных тонах возражали ведущему. Градус обсуждения рос, едва не достигая уровня скандала. К общему негодующему хору гостей присоединялись и протесты дозвонившихся в прямой эфир телезрителей. Виктор Васильевич тоже поначалу хотел позвонить в Москву и высказать ведущему всё, что он о нём думает, но в самый разгар оживлённой беседы камера мельком показала самодовольно улыбающееся лицо тележурналиста, увидав которое, Виктор Васильевич звонить передумал. Он понял, что журналист специально растравливает аудиторию, стремясь таким образом повысить рейтинг своей программы. И, словно в подтверждение догадки Виктора Васильевича, ведущий телепрограммы заявил, что лично он считает единственным великим стратегом Второй мировой войны английского премьер-министра Уинстона Черчилля, и под возмущённый ропот аудитории тут же предложил посмотреть документальный фильм о великом англичанине.

Смотреть фильм Виктор Васильевич не стал. Он родился и вырос в СССР и потому, воспитанный советской властью восхищаться героизмом непокорённой страны, даже сейчас, после развала Советского Союза, уже живя в вышедшей из состава СССР Молдове, психологически не воспринимал новомодных взглядов на Великую Отечественную войну. С высоты своего возраста, а Виктор Васильевич уже год как вышел на пенсию, ему казалось, что современные фильмы о войне создаются не затем, чтобы рассказать людям правду, а чтобы, посеяв сомнение в величие советского народа, косвенно настроить зрителя против коммунизма как политического явления и против России, где коммунизм пустил глубокие корни. С экранов телевизоров и газетных полос только и твердили, что «Сталин» да «расстрелы», будто специально хотели, чтобы советский образ жизни в умах людей намертво спаялся только с кровью и насилием. Современные средства массовой информации настойчиво внушали гражданам, что ничего кроме расстрелов в советский период не происходило, что чего ни коснись – всё в СССР залито кровью невинных жертв, что не стоит забывать красного террора, политических репрессий и ужасов тоталитаризма.

Виктор Васильевич соглашался, что забывать, конечно, не стоит. Но почему от новых поколений требуют помнить только плохое? Вот Виктор Васильевич, например, при Сталине не жил. Юность и зрелые годы его пришлись на времена хрущёвской оттепели и брежневского застоя, когда о массовых казнях никто уже и не помышлял. Не помнил Виктор Васильевич в годы своей юности ни расстрелов, ни пыток, ни всего того, о чём так настойчиво твердили западные и прозападные средства массовой информации. Зато он прекрасно помнил, что в огромной советской стране царил порядок и что, в отличие от современного демократического беспредела, любой гражданин, невзирая на социальный статус, через суды и партийные организации мог добиться справедливости. Сейчас же о справедливости и правосудии забыто, ибо здесь, в Молдове, навязанная Западом демократия, как трухлявый пень, вдоль и поперёк изъедена червем коррупции. Виктор Васильевич считал, что двадцатилетие молдавской независимости наглядно показало недееспособность демократических законов. Не исповедует народ демократическое законопослушание. И значит, демократия, воплощаемая продажными

лидерами-коррупционерами, никогда не реализуется в то европейское народоуправление, которое взято молдавскими политиками за идеальный образец. Глядя, как стая политических мародёров, прав не только Конституцию, но и все законы приличия, устраивает в молдавском парламенте грязные свары за какой-нибудь кусок ещё не поделенной молдавской земли, Виктор Васильевич волея-неволей задумывался о появлении нового Сталина, который быстро бы нашёл управу на зарвавшихся коррупционеров. Виктор Васильевич страстно желал, чтобы в стране появился политический лидер, который бы жёсткой рукой призвал негодяев к ответу. И чем больше негодяев накажут, тем справедливее будет новая власть. Виктор Васильевич, как и многие граждане бывшего СССР, считал, что в деле законности власть может быть не только жёсткой, но и жестокой. Жестокость правителя олицетворяла силу государства.

Но мировая политическая мода теперь жестокость отвергала. Государства теперь рядили в потаскуши одежды либерализма, и Виктор Васильевич глубоко досадовал, что не только Молдова – ладно с ней, с Молдовой-то – но и великая Россия не миновала либеральной аморфности. Ему казалось, что, принимая либерализм, Россия тем самым лишается самобытности, духовно и физически разоружается, в то время как страны, навязывающие ей либерализм, втихаря вооружаются, строят планы и вот-вот двинут крестовые походы новой цивилизации на российские просторы.

А пока вторжения не случилось, россиян приучают к мысли об их вине перед человечеством за миллионы невинно загубленных жизней. Вине, за которую должна последовать справедливая расплата. И чтобы расплата воспринималась россиянами как заслуженное наказание, повсеместно рассматривалась роль России в мировой истории и победа Советской России во Второй мировой войне.

Особенно много телепередач с так называемым «новым взглядом» на события военной поры в преддверии Дня Победы показывали по русскоязычным зарубежным телеканалам. Сидя у телевизора, Виктор Васильевич искренне негодовал, когда не только иностранные, но и многие российские журналисты видели в войне лишь звериную жестокость заградительных отрядов, равнодушное пренебрежение солдатскими жизнями и коварство советского Главнокомандующего. И уж совсем Виктор Васильевич выходил из себя, когда героизм советских солдат комментаторы объясняли не душевным порывом защитников Отечества, а страхом перед карательными органами кровожадной большевистской системы. Ему не хватало нервов смотреть и слушать, как холёные, извертевшиеся в лучах софитов тележурналисты с мазохистским сладострастием всё давили и давили на кровоточащую мозоль большевизма. Всё ковырялись в незаживающей ране советского народа, всё упивались пролитой кровью. Война в их изложении превращалась в четырёхлетнюю бойню, в войну большевиков не столько против фашизма, сколько против собственного народа. Подобную однобокую трактовку великой войны Виктор Васильевич воспринимал с негодованием и отвращением. «Что ж вы, иуды, не видите, что вашу войну, словно хромую кобылу, перекосило на одну сторону? – мысленно возражал он тележурналистам. – И на этой кривобокой кляче вы хотите въехать в Победу? Да и саму Победу в чьи угодно руки готовы отдать, лишь бы не признавать советского, а теперь и российского, величия».

Виктор Васильевич нервно заёрзал на диване.

«Черчилля они канонизируют, – раздражённо продолжал воображаемый спор Виктор Васильевич. – Да как же так можно?! Ведь именно Черчилль после окончания войны призывал, пока у СССР нет ядерного оружия, применить его против нас! Против нас, только прошедших кровопролитную войну! Против нас, извившихся от горя по погибшим, в разрушенной, в пепле и руинах стране!» При этом Виктор Васильевич совсем не думал о том, что давно уже нет Советского Союза и нельзя теперь оперировать такими понятиями, как «мы», «нас», «нам», ибо уже нет и никогда больше не будет единого советского народа – народа-мученика, народа-строителя, народа-победителя. На его месте появилась дюжина народов поменьше, каждый из которых выбирал свой путь выживания: кто изо всех сил рвался в кабалу Евросоюза, кто заигрывал с Россией, иные превратились в личные владения князей-президентов, о прочих вообще не было слышно, будто и не стало их. Но Виктор Васильевич, хоть и понимал, что времена изменились и у каждого народа время теперь своё, по-прежнему привычно рассуждал обо всех, как об одном народе, как будто состоявшийся развод бывших союзных республик был лишь досадным недоразумением в жизни единой многонациональной страны. Как и прежде, хоть он и жил в Молдове, Виктор Васильевич смотрел по телевидению российские новостные программы и, оценивая события в мире с точки зрения московских политических аналитиков, о действиях российских властей рассуждал, как о «наших» действиях. И как прежде в его представлении российские власти выглядели больше «нашими», чем местные, молдавские, которые, конечно, тоже

были «нашими», но какими-то не теми «нашими», не настоящими. «Нашими», но с примесью враждебности к ним, с каплей презрения, ввиду их невысокого местечкового уровня.

Виктор Васильевич переключил телевизор на другой канал. Здесь транслировали выступление военного хора. В конце выступления на сцену выбежали российские спецназовцы с показательной программой по рукопашному бою. Виктор Васильевич залюбовался отточенной слаженностью российских солдат, но когда в конце выступления те принялись разбивать о свои головы бутылки и крушить друг другу об головы кирпичи, Виктор Васильевич с досадой выключил телевизор. «Нет, это чёрт знает что такое! – с возмущением подумал он. – Разве ж это солдаты? Это дуболомы!» В его представлении русский солдат воплощал собой прежде всего образ труженика войны, для которого война – величайшая беда, несчастье, которое он стремится пресечь всеми своими силами. Даже ценой собственной жизни! Для достижения цели русский солдат использует выучку, умение, ловкость, храбрость, но чаще всего выдумку, смекалку. А что хорошего может выдумать человек, который бьёт себя кирпичом по голове? Нет, таким солдатом народ восхищаться не станет и сказку о таком воине не сложит. Потому что камнелобый, бездушный исполнитель военных инструкций – это западная модель солдата-головореза, чуждая русской военно-исторической традиции.

Виктор Васильевич вспомнил телевизионную передачу, посвящённую произошедшей в конце двадцатого века войне в Югославии. В передаче один из российских солдат, рассказывая о взаимоотношениях российских и американских миротворцев, жаловался на чрезмерную исполнительность американцев. Механическую. Слепую. Как пример, солдат поведал историю о переходе совместного отряда российских и американских миротворцев из одной югославской деревни в другую. Расстояние между деревнями составляло всего несколько километров. Так как местность была гористая, отряду приказали делать привал после каждых двадцати минут пути. Российский спецназовец жаловался, как бесило россиян, что ещё толком идти не начали, ещё не подустали даже, а тут – бац! – вынуждены останавливаться с американцами на привал. И как психанули россияне, когда до деревни оставалось рукой подать, а американцы в очередной раз разложились отдохнуть. Россияне плюнули и, наперекор приказу, бросив отдыхающих американцев, сами пошли в деревню. «Там час ходьбы был, – жаловался российский солдат журналистам, – а из-за этих пиндосов, простите, храбрых американских солдат полдня шли». Кстати, о «пиндосах». В той же передаче журналист не без юмора рассказал, что американское военное руководство потребовало от российского военного руководства, чтобы оно приказом запретило российским солдатам так называть американцев. Того не знали американские военные, что для нашего человека приказ – это не обязательно побуждение к действию. Порой приказ – только лишь демонстрация иерархической зависимости подчинённого от начальника. Поэтому российское военное руководство, согласившись с доводами американцев, приказать-то, приказало, но вот запретить как? «Нет, – с удовлетворением подумал Виктор Васильевич. – Всё-таки есть ещё в русском характере закоулки, недоступные пониманию прямолинейного западного ума. И, слава Богу, пока ещё нельзя русского человека загнать в простую схему инстинктов и рефлексов». В последнее время, однако, по телевизору всё чаще говорили о реформировании российской армии на американский манер, и этот факт сильно огорчал Виктора Васильевича. «Так, может, российские солдаты для того и лупят себя кирпичами по головам, чтобы скорее стать пиндосами? – грустно подумал Виктор Васильевич. – А вдруг и в генералитете уже есть те, кто головой камни крушил? Ой, тьфу-тьфу-тьфу, – Виктор Васильевич мысленно поплевал через левое плечо и перекрестился. – Ладно, военные. Главное, чтобы никого из камнелобых министром культуры не назначили! И вообще, чтобы бить головой кирпичи не стало общероссийским тестом на профессиональную пригодность. А то с тотальной американизацией России кирпичей на все головы не напасёшься».

Виктор Васильевич выключил телевизор и поднялся с дивана. Походив в тишине по комнате, он подумал: «Ну что, кажется, пора. Кажется, пришло время». Виктор Васильевич давно, ещё до выхода на пенсию, мечтал заняться литературным творчеством. Но тогда, в бесконечной круговерти больших и малых дел, на писательский труд ему катастрофически не хватало времени. Мечтая описать в мемуарах свою непростую жизнь, он дал себе зарок заняться воспоминаниями по выходе на пенсию. Тогда, выпавшийся, отдохнувший, не терзаемый домочадцами, он сможет спокойно посидеть за письменным столом, неспешно описывая на бумаге основные события своей жизни. «Хотя, какая сейчас бумага, – одёргивал себя Виктор Васильевич. – Сейчас только на компьютерах все и пишут». Признаться, он и сам бы предпочёл работать на компьютере, однако в его воображении писательский труд, несмотря на все достижения научно-технического прогресса, непременно увязывался с листом

бумаги и пером во вдохновенной писательской руке.

И вот теперь, раззадоренный телепередачей о Черчилле и битьём кирпичей о головы российских спецназовцев, Виктор Васильевич решился всё-таки вплотную заняться мемуарами.

Он сел за письменный стол, достал из папки для бумаг белый лист, вынул из пенала авторучку и задумался, не зная с чего начать. Обладая хорошей памятью, Виктору Васильевичу показалось сейчас, что он помнит почти каждый день своей жизни, не исключая и раннее детство. Поэтому, представив весь объём будущей работы, Виктор Васильевич немного опешил. Сама попытка подробно расписать своё ежедневное существование показалась ему каторжным трудом, который он в его годы вряд ли осилит.

Однако писать хотелось. Руки чесались и сами тянулись к бумаге.

«Может, к юбилею написать что-нибудь о войне?» – подумал Виктор Васильевич. Он родился через восемь лет после её окончания, поэтому, конечно, участвовать в Великой Отечественной не мог, но у него отец воевал, и тесть, и родной брат тёщи дядя Гоша, а ещё один брат тёщи, Ларчик, отправившись добровольцем на фронт, сгинул без вести в первые месяцы войны.

Виктор Васильевич встал из-за стола, прошёлся по комнате, вспоминая всё, что рассказывали ему о войне дядя Гоша и остальные родственники, и снова сел за стол.

Вот тесть его, Михал Михалыч. Попал на фронт за несколько месяцев до окончания войны. Ему тогда как раз исполнилось семнадцать лет. Пацан совсем. Всё мечтал совершить героический поступок, грезил о танковых атаках. А его в повара определили. Тесть рассказывал, как обиделся он на своё назначение, сил нет. Но потом успокоился. Хорошо хоть так. А то могли вообще не взять по малолетству. Виктор Васильевич улыбнулся, вспомнив, как тесть смеялся над самим собой, своей горе-службой. Потому что воевать ему пришлось всего-то несколько дней. Правда, на войне, чтобы сгинуть, порой и нескольких мгновений достаточно, но тесть всё равно всегда жалел о своей кратковременной войне. Михал Михалыч рассказывал, что ранило его неожиданно. Как сам он говорил – «по собственной глупости». Их позицию обстреливали снайпера. Да так обстреливали, что головы из окопа не высунуть. А тут какой-то вояка-недотёпа оставил на бруствере котелок с кашей. Каша парила, остывающая, и вкусная после голодной гражданской жизни Михал Михалыча словно укоряла молодого повара в небрежном отношении к хлебу насущному. Тогда тесть подобрался к котелку как можно ближе и, не высовывая из-за бруствера головы, вытащил туда, в царство пуль, руку. Ощупью пошарил по холодному песку, но котелок словно испарился. Тесть чуть приподнялся на цыпочки, чтобы, высунув из-за бруствера только нос, хоть краем глаза зацепить проклятый котелок, и в то же мгновение резким ударом в плечо его опрокинуло назад в окоп. Пуля снайпера вошла выше локтя, раздробила кость и, срикошетив, вылетела у самого уха, смертельной осой прожужжав напоследок: «Ж-ж-жал!» Михал Михалыча перебинтовали, отнесли в медсанбат, а там, пока его мотало по госпиталю, и война закончилась.

Дядя Гоша, шурин Михал Михалыча, всегда потешался над горемычным мужем своей младшей сестры. Сам дядя Гоша, на десять лет старше Михал Михалыча, уйдя на войну вместе с Ларчиком, прошёл её всю от начала до конца. Не один раз раненный, он всегда возвращался в строй. Его парадный пиджак сверху донизу украшали ордена и медали. И только сейчас, думая над планом будущего рассказа, Виктор Васильевич пожалел, что мало расспрашивал дядю Гошу о войне. Да и когда собственно? В будние дни они почти не встречались, а на семейных торжествах заправляющие праздником женщины слышать о войне не хотели и требованием не портить веселья пресекали любые попытки дяди Гоши пооткровенничать на военную тему. Редкие рассказы дяди Гоши Виктор Васильевич вспоминал только по случаю. Вот и сейчас, подумав о Югославии и американцах, в памяти всплыло, как, будучи уже глубоким стариком, незадолго до своей смерти, дядя Гоша, слушая новости о бомбёжках американцами югославских городов, всё цокал языком, всё вздыхал печально у телевизора. Виктор Васильевич поинтересовался тогда, что так взволновало старика. «Да как тебе сказать, – задумчиво проговорил дядя Гоша. – Зря американцы туда полезли. Ой, зря. Югославы-то – клятый народ. Они американцам хрен когда сдадутся. Да если и сдадутся, то на колени всё равно не встанут и унижения не простят. Они землю свою, знаешь, как любят?! Я ж воевал там, помню. У них там горы одни, высота на высоте. И вот мы, значит, высотку одну брали. В лоб. Ну и завязли по самое «не могу». Фашист злой, сильный, такой огонь открыл, что думали всё, хана, сейчас все здесь ляжем. Тут, слава Богу, приказ пришёл отступить. И только начали мы пятиться, как из леса югославские партизаны подтянулись нас выручать. Им разве в бою объяснишь, что в лоб уже нельзя, что тут манёвр нужен. У нас при-

каз отступить, а они, черти, зубами землю грызут и всё вперёд, вперёд. А огонь шквальный, в воздух плюнь – плевок пуля сшибёт. Мы остановились. Что делать – не знаем». Дядя Гоша замолчал, вспоминая былое, а потом, оживившись, с озорным блеском в глазах продолжил. «Меня в том бою, знаешь, что поразило? Вот я лежу за камушком, думаю, как бы мне ловчее назад-то сигануть, чтобы меня пуля не зацепила. А метрах в пяти от меня баба ихняя, из партизан которая. В белой рубашке до пят и такой же длинной овечьей безрукавке. Простоволосая. Беременная. На последнем месяце, наверное. Живот огромный. И вот она, брюхатая, на одном колене стоит и с рук из «дегтяря» по немцу сыпет. Вскинет пулемёт и стрельнет. Вскинет и стрельнет». «Ух ты!», – воскликнул Виктор Васильевич. «Что «ух, ты», – передразнил его дядя Гоша. – Ты «дегтяря»-то в руках держал? Он же тяжеленный! С ним от одной отдачи родить можно! А она с колена из него сыпет и по-своему меня кроет, чтобы я, курва, назад не смел, чтоб только атаковал! Но поразило меня не это, на войне чего только не увидишь. Я от другого опешил. Баба эта, малахольная, орёт на меня, и не по-русски орёт, а я – представляешь? – понимаю её! Вот как Слово-то на ситуацию ложится, что, незнакомое, становится понятным и очевидным! Меня эта мысль словно громом шибанула. Лежу я, значит, на бабу с пулемётом пялюсь, а сам ничего вокруг не вижу, не замечаю. Как контуженный. И только дума одна в голове крутится, что вот оно, Слово-то, как по языкам разлилось. И, значит, верно, что Оно раньше языка появилось. И, следовательно, прав был апостол, когда писал, что вначале было Слово. И раз только с Ним человек стал человеком, то верно и то, что Оно сотворило человека и, значит, Оно и есть Бог!» Дядя Гоша снова замолчал, задумавшись. Виктор Васильевич ждал, ждал, пока дядя Гоша продолжит, а потом, не выдержав затянувшейся паузы, спросил: «А высоту-то взяли?» «Да куда она денется, – отмахнулся дядя Гоша. – Партизан-то этих не приказ вперёд гнал – Дух! Он же и от пуль берёт. Может, кто и не чувствует таких вещей, а нас так словно пронзило Им насквозь. На одном дыхании ту высотку и взяли. Так что зря американцы на этих балканских попёрли. Кто на камнях вырос, тот корни имеет крепкие. Только с этой землёй его из камней и вырвешь, – дядя Гоша замотал головой. – Не знаю, не знаю. Американцы хоть и хороши, а на Балканах им не сладко придётся». – «А что, дядя Гоша, – спросил тогда Виктор Васильевич, – американцев-то уважаете?» – «А как иначе? – удивился дядя Гоша. – Собака зубы скалит, и ту уважаешь. А здесь армия, флот, бомба атомная. Шутка ли? Да и отношение к солдатам мне у них нравилось. Оно у них, как бы тебе это сказать, – дядя Гоша замялся, подыскивая нужное слово, – выверенное, что ли. Всё у них не абы как, а с дальним прицелом. Они там, в штабе, посидели, подсчитали и выяснили, что убитый солдат им дороже тонны бомб выходит. Ага, значит, надо беречь солдата. И берегли. А бомбы несчётно с самолётов сбрасывали. Тактика у них, знаешь, какая? Они вперёд разведку бросают. Если та натыкалась на более-менее сильное сопротивление, тут же вызывали авиацию. А уж бомбят американцы страшно! Ты не видел. Небо чёрное от самолётов. Отбомбились, опять разведка вперёд идёт. Немец не сдаётся, его опять из самолётов утюжат. Во как! И в плен американцы легко сдавались. У них это не позор. Опять-таки канцелярия – сохранение штатной единицы. Пачками под немца ложились. А у нас, вишь, в фильмах кричат: «Русские не сдаются!» Крикнешь тут, когда ты таджик и даже «мама» не говоришь, а мяукаешь».

Дяди Гошиного уважения к американцам сейчас в своём возрасте Виктор Васильевич не разделял. Потому что считал Америку виноватой в развале СССР. И именно по её вине, когда социализм единодушно признали несостоятельной политической системой и западный образ жизни, с презрением отвергаемый раньше, как упаднический, в новые времена превозносился как эталон цивилизованности, Молдова, опьянённая голливудскими рассказами о свободе и демократии, сломя голову понеслась в пропасть разнузданной вседозволенности. Повсеместно, в городах и сёлах, приватизировались, а точнее, мошенническим образом отбирались у государства большие и малые предприятия. Однако не способные к самостоятельной жизни, они вскоре закрывались, выкидывая на улицу в поисках заработка тысячи и тысячи специалистов. Расформировывались колхозы и совхозы. На месте коллективных хозяйств в угоду Западу насильственным образом внедрялись фермерские хозяйства. Но и они, не приученные к грамотному единоличному владению землёй, лишённые к тому же поддержки государства, вскоре распускались. Весь трудолюбивый молдавский народ, все эти мастера в различных областях, все они в один миг оказались не у дел. Страна рабочих и крестьян перестала существовать. Плановая социалистическая экономика отступила под грубым напором рыночной. Рынок, базары, «толчки», «клоповники», «барахолки» большими гнилостными язвами покрыли молдавские города и сёла. Народ вместо производства кинулся в торговлю. Преуспевающий торгаш обрёл статус национального идеала. Ростовщик, надев дорогой костюм и назвавшись банкиром, корыстным рабов-

ладельцем выставил на международные торги молодую республику-молдаванку. По пятам за ним рать политических авантюристов на волне общественного недовольства заполонила руководящие органы страны и, прикрываясь демагогическими лозунгами о правах и свободах, набивала бездонные свои карманы, жирела в безнаказанном окаянстве. Но не случилось бы трагедии от беззакония верхов, если бы и низы не вторили своим правителям. Неуёмная алчность распростёрла засаленные крылья стервятника и новой моралью закружила над растерзанной молдавской землёй. Ближнего своего, лишённого деловой хватки, необходимой, чтобы рвать в клочья, чтобы, раз вцепившись, уже никогда не отпускать, на американский манер теперь называли неудачником. И презирали безмерно. Повальное неуважение друг к другу, постоянная готовность граждан к мгновенной агрессии превращали молодую страну в зловонную клоаку. Нечистоплотность духа выражалась в нечистоплотности поведения. Обмануть, обвести вокруг пальца, любым способом заработать на ближнем теперь считалось нормой. Личное обогащение стало краеугольным камнем политики, экономики и морали. Занятие, не имеющее отношения к обогащению, отвергалось как бессмысленное и ненужное. Виктор Васильевич недоумевал, неужели «американская мечта» сводилась только к сладким грёзам о барыше? Неужели таким представлялось будущее Молдовы тем её гражданам, что ратовали за выход её из состава СССР? О таком ли государстве, экономика которого держится только на западных кредитах да на денежных перечислениях гастарбайтеров, мечталось им? И что это сейчас за государство, руководители которого бредят вступлением в Евросоюз, но, не имея никакого определённого плана развития страны, старательно прячут за бодрыми заявлениями о грядущем благополучии тоскливую надежду на всемогущий авось?

В горьких размышлениях о судьбе своей страны Виктор Васильевич досадовал и на себя молодого, себя ершистого, дерзкого. Наслушавшись в советские годы запрещённого западного радио, Виктор Васильевич по молодости задирает отца и в тесном семейном кругу частенько прохаживался с критикой в адрес советской власти. Отец не любил политических разговоров и, уклоняясь от спора, тем не менее всегда выступал против юношеского легкомыслия сына. Виктор Васильевич, снисходительно пошучивая над осторожными выкладками отца, считал родителя чересчур запуганным советской властью, что, впрочем, не удивляло: в годы войны отец служил в румынской армии, за что после окончания войны пять лет отсидел-отработал где-то в шахтах Донбасса. Может быть, послевоенное пленение, а может быть, вообще нелёгкая жизнь, наложили тяжёлый отпечаток на характер отца. Вернувшись из плена, он, и без того неразговорчивый, редко когда произносил лишнее слово, а уж расспрашивать его о войне и вовсе было бесполезным делом. Лишь однажды, когда Виктор Васильевич своими расспросами всё же донял его, отец потемнел лицом и, еле сдерживая гнев, прорычал сквозь зубы: «Развлечёшься хочешь? Скучно без крови? А война – это смерть. Это горе. Это страх до усрачки. Потому что сидишь, разговариваешь с человеком, а ему через полчала осколками кишки наружу вынесло. И, значит, ты следующий. И, значит, тебе тоже кишки наружу. И всё это я должен тебе весело подать? Так на, веселись!»

Виктор Васильевич от отца отступился, но, любопытный, пристал к дяде Гоше, чтобы тот разъяснил, как такое могло получиться, что проживающих в одном городе родственников раскидало по разным армиям и заставило воевать друг против друга? «А как, – просто отвечал дядя Гоша. – Молдова же, когда Бессарабией была, переходила из рук в руки. Меня советская власть в армию забрала. Пришли немцы с румынами – отца твоего забрали. Советы вернулись – тестя твоего призвали. Жизнь, что ты хочешь. А наше дело простое, взяли воевать – войой, остался жить – живи».

В словах дяди Гоши не слышалось никакого осуждения отца, да и тот никогда кривого слова в адрес дяди Гоши не говорил. И уж тем более, молдаванин, он никогда не называл русского дядю Гошу оккупантом, как орут на площадях Кишинёва современные молдавские националисты.

Вот ведь как получается. Тех советских граждан, что валом хлынули из союзных республик поднимать разрушенную войной экономику маленькой Молдавии, то ли в шутку, то ли всерьёз «оккупантами» или «большевиками» называл никто иной, как дядя Гоша. Уж больно ему не нравились советская уравниловка и лишённое частного собственника общее хозяйствование. Поддерживая Виктора Васильевича в осуждении советской власти, дядя Гоша в противовес всегда рассказывал о своём сладком довоенном житие в румынских Яссах, куда он, занимаясь печным ремеслом, несколько раз ездил на заработки.

«Ясские евреи, – надувал щёки дядя Гоша. – Богатые. Щедрые. Чистые. Работы у них всегда море. И платят хорошо. Эх, Витька, Витька, тебя бы в то время со мной в Яссы, – мечтательно щурил

глаз дядя Гоша. – Мы бы с тобой денег прорву заработали. На бульварах бы в кофейнях сидели, кофе пили. Пару борзых купили бы. В парках гуляли, с дамами раскланивались».

Но не только забавными рассказами о довоенной жизни умел возбудить воображение дядя Гоша. Он и внешним видом всегда выделялся в однообразной толпе советских трудящихся. По нему в жизни не скажешь, что этот франт в идеально отутюженном сером костюме-тройке, с повязанным на шее галстуком или бабочкой, пахнущий дорогим, не существующим в советской продаже, заграничным одеколоном, работал на одном из кишинёвских заводов простым маляром. На вопрос Виктора Васильевича, зачем он так наряжается, дядя Гоша отвечал, что манеру хорошо одеваться он перенял у яссских евреев. «Надо уважать себя, – говорил дядя Гоша. – В мире людей всё берёт начало от чело- века. Поэтому будешь уважать себя, будут уважать тебя и другие. Кем бы ты ни был, чем бы ни занимался. Воюешь ли, работаешь ли – не важно. Но если ты мастер, то должен уметь держать себя. И показать. И правильно поднести. А без уважения к себе до холуя опустишься и, даже будучи хорошим мастером, доброй славы не наживёшь».

Уважать себя... Как часто этот завет дяди Гоши Виктор Васильевич вспоминал в сегодняшние, на- полненные кланицей хищных челюстей, дни, когда понятие самоуважения сменилось взвинченным себялюбием, подпитываемым, не без помощи электронных социальных сетей, кокетливым самолюбо- ванием. А чтобы просто помочь нуждающемуся, не соблезнующим сообщением, а живым, физически ощутимым человеческим участием, этого в пронизанном телевизионным и интернетовским словоблу- дием мире теперь не дождётся. Да что там говорить о помощи. Во времена современного оголтелого эгоизма стало нормой ничего кроме себя не видеть, не замечать.

Вот, например, в подъезде Виктора Васильевича за последние пять лет сколько уже соседей поменялось – не сосчитать. Квартиры продаются и перепродаются по нескольку раз в год. Значит, купить квартиру у людей деньги есть, но чтобы нанять уборщицу в подъезде – все сразу неимущими прикидываются. Ладно, нанять. Сами выйдете и у себя на лестничной площадке уберете. Но нет, куда там. Ни разу ни один из толстосумов у собственных дверей пол не подметёт и уж тем более не вымоет. Им статус не позволяет лишний раз нагнуться. В старом пятиэтажном доме Виктора Васильевича по проекту не предусматривалось места консьержки, поэтому раньше жильцы сами договаривались меж- ду собой об очерёдности уборки в подъезде. Сейчас же договариваться не с кем. Хоть лбом в чужую дверь бейся – не откроют. Долгое время соседка с пятого этажа, пенсионерка Екатерина Антоновна, прибирала в подъезде, но несколько месяцев назад её свалил инсульт, и с тех пор в подъезде царили грязь и запустение. Повсеместно на лестничных площадках валялись затоптанные и смятые страницы рекламных листовок, выпавшие из мусорных кулков упаковочные обёртки, использованные сал- фетки. Во внутренних изломах ступенек скопилась серая пыль, нанесённая с улицы грязь. Какой-то неряха бросил на лестничной площадке окурочок и вслед за ним остальные курильщики, управляемые логикой, что раз уж насорено, то и от их окурка грязнее не станет, бросают бычки, где попало. «Ну, хорошо, – думал Виктор Васильевич, – боитесь вы друг друга и потому из-за дверей носа не кажете. Но нельзя же ходить по мусору и только брезгливо морщиться. Надо же хоть попытаться навести по- рядок». Но не пытаются. Наоборот даже. Кто-то из новых соседей на ночь выпускал кота в подъезд, и тот метил каждый этаж, отчего в подъезде стояло тяжёлое тошнотное зловоние. Виктор Васильевич пытался найти того соседа, но жильцы друг друга не знали и поэтому поиски остались безрезультат- ными. Виктор Васильевич хотел даже пожаловаться в полицию, но, предположив, что вряд ли кто из полицейских захочет устраивать облаву на кота, звонить в полицию передумал. Оставалось только разочарованно вздыхать и, уподобляясь равнодушным соседям, подниматься по загаженным ступе- ням к себе на четвёртый этаж, уповая на Бога, чтобы не случилось в жизни никакой беды страшнее. Потому что из-за глухих, молчаливо-непроницаемых, как надгробные плиты, дверей, вряд ли кто от- зовётся и придёт на помощь. Прошла эпоха добрососедства. Ей на смену пришли времена, как любил повторять один известный политик, «взаимовыгодного сотрудничества». И времена эти, когда выгода пронзила все сферы человеческой деятельности, страшно не нравились Виктору Васильевичу. Потому что он считал, что расчёт, положенный в основу любых взаимоотношений, уничтожает бескорыстные добродетели, да и вообще добро души. Его сейчас подменило пресное, эмоционально-отрешённое от- ношение к чему бы то ни было. Отношение, которое теперь, в эру тотальной глобализации, называли европейской толерантностью, ровную гладь которой духовно огрубевшие в передрыге экономических катастроф граждане Молдовы путали с отстранённым равнодушием. Виктору Васильевичу казалось, что раньше, в далёкие годы его молодости, люди по-другому относились к ближнему своему. Само

государство с его великой идеей мирового братства униженных и оскорблённых внушало людям необходимость помогать друг другу. Не банки, страховые организации и частные охранные агентства за мзду оберегали налогоплательщика, а государство в лице всех своих институтов стояло на защите прав граждан. По сравнению с разрозненным и бесцельным существованием современного молдавского общества, с этой бездонной, беспросветной, глухой пропастью, молодость Виктора Васильевича вспоминалась ему сейчас не иначе, как ярким, весёлым празднеством, в дружном хороводе которого люди чувствовали себя важной частью единой социально-политической системы, несокрушимого государственного монолита и исповедовали идею товарищества и взаимовыручки.

«Да уж, – мечтательно улыбаясь, подумал Виктор Васильевич. – Жили мы весело». И лишь мысль о беспросветной бедности советского народа раздражающей нотой звенела в стройном созвучии воспоминаний. Унылое однообразие советских товаров на полупустых магазинных полках хоть и воспринималось сейчас с ностальгическим умилением, но тогда в молодости досаждало не меньше, чем пресыщенность нынешних нуворишей. Но мало того, что выбор товаров не радовал многообразием, так ещё государство платило такие зарплаты, что по магазинам на них сильно не разгуляешься.

Особенно остро нехватка денег почувствовалась после женитьбы Виктора Васильевича. Двух зарплат, его и жены, молодой семье никак не хватало, и Виктор Васильевич тихо проклинал и советскую власть, и весь советский уклад жизни, где всё устроено так, что кроме зарплаты ему ничего больше не светило. Отец возражал, предлагал потерпеть. «У тебя же ни образования специального нет, ни трудового стажа, – спокойно увещевал Виктора Васильевича отец. – А поработаешь, через год-другой пройдёшь квалификационную комиссию, поднимут тебе разряд – вот и деньги». – «Да поймите, отец, – кричал в ответ Виктор Васильевич, – я не хочу через годик-другой! Мне сейчас надо! Понимаете? Сейчас!»

Со стыдом вспоминался теперь Виктору Васильевичу тот разговор с отцом. А ведь пророчество отца сбудется и всё произойдёт именно так, как он и предполагал. Уволившись с мебельной фабрики, Виктор Васильевич помыкается по Кишинёву в поисках более высокооплачиваемой работы, но так ничего и не найдя, устроится в один из крупнейших молдавских трестов столяром-краснодеревщиком на самый низкий оклад. Но потом, каждые полгода, проходя квалификационную комиссию, через три года сдаст таки на высший шестой разряд и поступит на заочное обучение в Кишиневский строительный техникум, благо образование в СССР для всех было бесплатным. С отличием окончив техникум, Виктор Васильевич поступит и опять таки с отличием окончит Кишинёвский политехнический институт и поднимется в родном тресте от рабочего до инженера-конструктора. Потом, как молодому специалисту, ему предложат двухкомнатную квартиру, но, чтобы получить её, Виктору Васильевичу придётся вступить в ряды КПСС. И Виктор Васильевич вступит и, не вспоминая более, как в молодости проклинал коммунистов, бесплатно получит квартиру в одном из новых микрорайонах Кишинёва.

Ничего этого в момент ссоры с отцом Виктор Васильевич, естественно, знать не мог. А тогда, понизив тон, чтобы его слова ненароком не услышали соседи, он выговаривал отцу и про советскую уравниловку, и про пустые магазинные полки, и про вечный дефицит товаров народного потребления. Приводя в пример дяди Гошины слова о жизни на Западе, где нет ни колхозов, ни совхозов, а где есть только частный собственник, Виктор Васильевич сравнивал советский народ с молчаливым быдлом, которое под бравурные мелодии советской пропаганды прозябает в бедности и нищете.

«А вот разрешалось бы у нас частное предпринимательство, – напал на отца Виктор Васильевич, – поработал бы я на какого-нибудь хозяина, умишка бы набрался, а там, глядишь, и сам бы хозяином стал. Какое-нибудь своё дельце открыл».

«Да что ты, сынок, знаешь о работе на хозяина?» – недовольно скривился отец. Вся его юность и молодость пришлось на годы, когда Молдова, будучи ещё Бессарабией, не желая принадлежать большевикам, вышла из состава Российской Федерации и присоединилась к Королевской Румынии. Многодетная семья отца жила при румынах беднее бедного, поэтому в двенадцать лет отца вынудили уйти из семьи батрачить на хозяев. Работая у зажиточных крестьян наёмным работником, отец навидался многого. Сменив десяток профессий, он в конце концов перебрался в Кишинёв, где и осел, устроившись слесарем в трамвайном депо. А потом грянула страшная война. Но даже она и последовавшая за нею, пятилетняя отсидка не смогли переломить лютой ненависти отца к хвалёному капитализму и поколебать в нём уверенности в благородной цели советской власти, освободившей рабочих и крестьян от угнетателей трудового народа. «Ой, отец, меньше слушайте советскую пропаганду, – поражённый несвойственной родителю терминологией, снисходительно советовал Виктор Васильевич. – Лучше кругом посмотрите. Все, как и мы, который год живут, еле концы с концами

сводят, но по радио только и трубят, как мы процветаем и богатеем. А все ляжку тянут и даже пикнуть в протест не смеют». Не обладая достаточным красноречием, отец отвечал, что при румынах жили не лучше. Хуже жили. И что при них тоже никто протестующего слова молвить не смел. «А что до работы на хозяина, – отец грустно покачал головой, – то, слава Богу, не знаешь ты, сынок, что значит на чужой кошелёк гнуть спину». Русского слова «горбатиться» отец не знал. Зато всю тяжесть и унижительную суть этого словца Виктору Васильевичу пришлось испытать на собственной шкуре много лет спустя, когда, обретя независимость и враз обнищав, Молдова двинулась на шатких ногах голодной попрошайки в сторону рыночной экономики. Кем только ни пришлось работать Виктору Васильевичу до выхода на пенсию! Сколько хозяев-работодателей сменил – не сосчитать! Да и сейчас, на пенсии, Виктор Васильевич работал сторожем в детском саду. Потому что на мизерную пенсионную выплату, которую Виктор Васильевич иначе как обглоданной подачкой не называл, нормальному человеку здесь, в Молдове, не прожить. Если бы не работа да помощь сыновей, не сидеть бы сейчас Виктору Васильевичу за письменным столом, предавшись воспоминаниям, а кланчить милостыню на городских улицах или, того хуже, увянув от истощения, лежать уже на кладбище под скромным крестом с табличкой. Пожалуй, единственное, что по-настоящему хорошо получилось в его жизни, так это воспитать сыновей порядочными людьми. Все остальные его замыслы и надежды так и остались неосуществлёнными: дома не построил, накопленных денег от пламени инфляции не уберёг, предпринимателем не стал. Предпринимателем... Виктор Васильевич вспомнил личины хозяев, на которых ему пришлось работать, и он содрогнулся от омерзения. «Эх, не слушал я отца, – корил себя Виктор Васильевич. – Всё умным себя считал. Спорить лез. А ведь отец говорил. Отец предупреждал»

Внезапно Виктор Васильевич подумал, что в правоте отцовских слов он мог убедиться ещё в молодые годы, когда произошёл конфуз с дядей Гошей.

Неудовлетворённый предложением отца перетерпеть временную нехватку денег, Виктор Васильевич бестактно спросил, сможет ли дядя Гоша дать дельный совет, как правильно поступить. Отец не обиделся, а, обречённо махнув рукой, сказал, что дядю Гошу легче всего найти в субботу утром у главных ворот Центрального рынка. Оказалось, там, у ворот, каждую субботу собиралась неофициальная биржа печников. Телефон в городе был редкостью, поэтому только на бирже клиенты могли выбрать мастера и обговорить условия и оплату предстоящей работы.

Дождавшись ближайшей субботы, Виктор Васильевич отправился на биржу. В то тёплое июньское утро он встретил дядю Гошу в самом центре небольшой площадки перед воротами Центрального рынка. Дядя Гоша стоял в белоснежной косоворотке, подпоясанный плетёной верёвочкой с распущенными кистями, в белых широких панталонах и белых летних туфлях. Голову дяди Гоши покрывала старомодная соломенная шляпа-канотьё. Опирался дядя Гоша на тонкую, изящную, с белым костяным набалдашником тросточку.

Разговор с дядей Гошей получился коротким. Смерив Виктора Васильевича критическим взглядом, дядя Гоша сразу поинтересовался достатком молодого человека. Услышав от Виктора Васильевича жалобы на маленькую зарплату и нехватку денег, дядя Гоша тут же спросил: «Заработать хочешь?» Получив радостный утвердительный ответ, дядя Гоша отпустил Виктора Васильевича с миром, пообещав в ближайшее время помочь. А уже в шесть часов следующего воскресного утра в окошко мазанки Виктора Васильевича кто-то тихо, но настойчиво стучал и приглушённым голосом звал: «Хозяин! Хозяин, вставай!» Так дядя Гоша взял Виктора Васильевича себе в подмастерье.

По частным заказам они с дядей Гошей ходили после основной работы каждого и в выходные дни. Правда, поработал с дядей Гошей Виктор Васильевич недолго, всего год. Дядя Гоша оказался непростым человеком. Весёлый и добродушный в обычной жизни, в работе дядя Гоша превращался в сущего деспота. Сладить с его характером мог не всякий, вот и Виктор Васильевич долго не выдержал. Мелкие постоянные ссоры, тихое переругивание грозили со временем разразиться нешуточным скандалом, чего Виктору Васильевичу страшно не хотелось. Он потому и терпел суровый нрав мастера, что боялся выглядеть в его глазах неблагодарным учеником.

Однако конфликт назревал и ситуация требовала разрешения.

Виктор Васильевич искал случая поговорить с дядей Гошей, и вскоре такая возможность ему представилась.

В то летнее утро дядя Гоша пришёл на объект позже обычного. Он ходил договариваться с очередным клиентом. В его отсутствие Виктор Васильевич успел натаскать из колодца воды и в большом, сбитом из досок корыте замесить глину. Надеясь на похвалу, Виктор Васильевич торопился закончить

все подготовительные работы к приходу мастера. Однако дядя Гоша расторопность Виктора Васильевича не оценил. Вернувшись с переговоров, он выглядел мрачнее тучи. Не поздоровавшись, дядя Гоша подошёл к корыту и хмуро наблюдал, как неловко Виктор Васильевич выдёргивает из жёлтой хлюпающей жижи полную лопату и, разлив больше половины лопаты по дороге, обрушивал жалкие остатки в ведро. Дядя Гоша сунул тросточку подмышку, закатал правый рукав, подтянул на коленях панталоны и присел у корыта на корточки. Погрузив правую руку в приготовленный раствор, он что-то долго нащупывал в мутной жиже, а потом вытащил руку, держа перед собой осклизлый ком плохо раздробленной и перемешанной глины.

– Что это? – зловещим, не предвещавшим ничего хорошего тоном спросил дядя Гоша.

Вода грязными, тонкими ручейками стекала с осклизлого кома по руке дяди Гоши и с глухим звуком капала в корыто. Брызги летели дяде Гоше на белоснежную сорочку, панталоны. Но дядя Гоша не сторонился их. С нескрываемым презрением он глядел на Виктора Васильевича, а пальцами ломал ком. Куски глины, падая в корыто, поднимали ещё больше брызг и ещё сильнее пачкали одежду дяди Гоши.

– Я ещё раз спрашиваю, что это? – повышая тон, повторил дядя Гоша и снова сунул руку в глиняный раствор.

Отложив лопату, Виктор Васильевич хотел оправдаться, сказав, что торопился, что к приходу мастера хотел успеть как можно больше сделать. Но вместо долгих объяснений пожал плечами и просто ответил:

– Глина.

– Глина? – переспросил дядя Гоша и вдруг, выхватив из жижи хорошую пригоршню, швырнул эту грязь в лицо Виктору Васильевичу.

Брызги пулемётной очередью перечеркнули грудь и живот Виктора Васильевича. От неожиданности он отпрянул назад и, поскользнувшись в грязи, плашмя растянулся у корыта.

Дядя Гоша поднялся с корточек и, левой рукой сгоняя по правой оставшиеся капли, нравоучительно породолжал:

– Всё говоришь тебе, говоришь.... Сколько раз тебе повторять, что глина должна быть как масло. Чтоб можно было на хлеб мазать. А ты что делаешь?! Как ты работаешь?! Я тебя, сволочь, научу профессию уважать! Не на государство пашешь – на хозяина!

Виктор Васильевич тогда ничего не ответил. Не глядя на дядю Гошу, он поднялся с земли, пошёл к колодцу, умылся. И, растираясь полотенцем, почувствовал вдруг странное удовлетворение от случившегося происшествия. Поступок дяди Гоши сделал его свободным. Получив последнюю порцию унижения, Виктор Васильевич твёрдо решил, что с него хватит, что с него достаточно. Теперь Виктор Васильевич ничего не должен дяде Гоше и потому может разговаривать с ним на равных.

– Простите меня, дядя Гоша, – подходя к мастеру, спокойно сказал Виктор Васильевич, – но не по мне эта работа. Не лежит у меня душа к вашему ремеслу. Остыл я.

Признание Виктора Васильевича, казалось, нисколько не удивило дядю Гошу. Он словно давно ждал его. Устало опустившись на скамью, дядя Гоша тихо, без нервов, спросил Виктора Васильевича, что тот намеревается делать. Боясь обидеть мастера, Виктор Васильевич ответил, что хотел бы посоветоваться с дядей Гошей, как ему дальше поступить. И вот тогда спокойно и рассудительно они и решили, что начатый заказ выполнят до конца, а дальше уже каждый пойдёт своей дорогой.

Виктор Васильевич с улыбкой вспоминал теперь, что после их разговора они с дядей Гошей до конца заказа ни разу больше не поругались и, не отвлекаясь на разногласия, в быстром темпе завершили работу даже раньше намеченного срока. И после заказа остались друзьями, так что дядя Гоша впоследствии крестил первенца Виктора Васильевича. Со временем добрые отношения вытеснили плохие воспоминания, и конфликт между ними, если и вспоминался, то не иначе как досадное недоразумение между двумя уважающими друг друга людьми.

После разрыва с дядей Гошей Виктор Васильевич подрадил ходить по квартирам ремонтировать мебель, окна, двери, врезать замки, циклевать полы. Благо, в пору всеобщего советского неустройства его специальность оказалась очень даже востребована.

Однако с левыми заработками у Виктора Васильевича дело не пошло. Сказывалось советское воспитание. Он никак не мог отделаться от ощущения нечистоплотности работы по квартирам. С детства ему внушали, что первое зло на земле – частнособственнический интерес, недопустимый в коммунистическом обществе. А Виктор Васильевич, получалось, своей деятельностью потакал этому интересу и, значит, шёл вразрез с основной идеей советского государства. Воспользовавшись неразвитостью

сферы бытового обслуживания, он своими подработками преступал советский закон. Но и те, кто пользовался его услугами, тоже совершали преступление, провоцируя Виктора Васильевича к подработкам. Чувство порочности теневой связи заказчика с исполнителем горькими угрызениями совести терзало душу Виктора Васильевича. И то, что государство сквозь пальцы смотрело на левые доходы мастеровых, нисколько не обеляло Виктора Васильевича в собственных глазах. Другие бы и оправдались количеством заработанных для семьи денег, но деньги, на самом деле, лишь первое время приносили удовлетворение. Со временем, привыкнув к достатку, добытые тяжёлым трудом деньги уже не радовали, а вкупе с хронической усталостью порождали в душе отвращение как к самому частному промыслу, так и к частным заказчикам вообще. Поэтому если на основной работе Виктор Васильевич вполне нормально воспринимал указания многочисленного руководства: бригадиров, мастеров, технологов, инженеров, – и безропотно выполнял их распоряжения, то на подработках любые замечания в адрес выполняемой им работы встречал в штыки и часто ругался с клиентами. «Возомнили они о себе, – пересказывая жене ссору с очередным заказчиком, возмущался Виктор Васильевич. – Думают, если они платят мне деньги, то я буду за это перед ними на задних лапках плясать!»

Естественно, что постоянная нервотрёпка и накопившаяся из-за непосильного рабочего графика усталость со временем отводили Виктора Васильевича от подработок. К тому же проблемы на основной работе, учёба, общественная деятельность затащили Виктора Васильевича в стремительный водоворот событий, головокружительная смена которых не оставляла никакой возможности для левых заработков.

Но если бы и появилась такая возможность, Виктор Васильевич всё равно ею бы не воспользовался. Потому что не прикипел душой к свободному труду и работать с клиентами, терпеливо удовлетворяя их прихоти, не научился. И даже когда над советской страной разразилась перестроечная катастрофа и огромный корабль Советского Союза, развалившись на куски, выкинул в клокочущий океан рынка ошеломлённых граждан СССР, то и тогда, оставшись без работы, к своей первой профессии Виктор Васильевич не вернулся. Он работал охранником, приёмщиком цветного лома, продавцом одежды и обуви, кладовщиком. В конце концов по знакомству устроился конструктором в небольшую мебельную фирму, откуда его спустя время без почестей и славы выпроводили на пенсию.

И опять, как в молодости, Виктор Васильевич бродил по Кишинёву в поисках заработка. Но если тогда он искал высокооплачиваемую работу, то теперь согласился бы на любую. Нигде, однако, трудоустроиться он не мог, ибо пенсионеры, как и прочие бюджетники, для неимущей Молдовы превратились во внутреннего врага, бороться с которым призывали молдавское руководство все международные валютные фонды.

И всё-таки Виктору Васильевичу повезло, и он устроился ночным сторожем в частный детский сад. Правда, кроме непосредственно охраны его заставляли чинить мебель, замки, кухонную утварь, убирать территорию сада. Но Виктор Васильевич не роптал, ибо знал, что пока соглашается, его будут держать, и, значит, худо-бедно свой век он проживёт по-человечески достойно, а не униженным просителем милостыни на заплёванных кишинёвских улицах.

Вечерами, когда детсад пустел, Виктор Васильевич запирал калитки, ворота, окна и двери, включал сигнализацию и в промежутках между обходами внутреннего детсадовского периметра слушал у себя в сторожке радио. Он бы с удовольствием почитал книгу или газету, но от чтения клонило в сон, а спать на рабочем месте, рискуя быть застигнутым врасплох кем-нибудь из руководства, Виктор Васильевич боялся. Потому что неминуемо был бы уволен. Хозяева детского сада с провинившимися работниками не церемонились и персонал не ценили. На каждом собрании рабочим кухни, нянечкам, воспитателям и логопедам вдалбливалось, что незаменимых людей не бывает и на место каждого из них завтра же без проблем найдётся подходящая замена. Поэтому чтения книг и газет Виктор Васильевич от греха подальше сторонился, отдавая предпочтение радио.

Удобно расположившись в сторожке, Виктор Васильевич находил радиоволну, где бы обсуждали последние события в стране, и внимательно слушал мнение политологов о ситуации в Молдове. Если же по радио разбирали зарубежные новости, то Виктор Васильевич хоть и внимал речам политических комментаторов, но относился к проблемам других стран с прохладцей. Уверенный в том, что такого беззакония, как в нынешней Молдове, нет ни в одном государстве мира, никаким, даже самым трагическим, известиям из-за рубежа он не придавал большого значения. Будь то цунами в Японии, смерчи в США или наводнения в Европе, Виктор Васильевич лишь небрежно отмахивался: «Эти с бедой справятся. Эти – не наши. Эти из руин поднимутся и заживут припеваючи. Не то что мы».

Презрительную усмешку вызывали у Виктора Васильевича и переживания молдавских радио-

комментаторов по поводу каких-нибудь очередных выборов во Франции, американский финансовый кризис или поимка какого-нибудь чиновника-коррупционера в Израиле.

Информационной вознѣй, копошением сытых мух на пиршественном столе жизни представлялось Виктору Васильевичу обсуждение радиожурналистами подобных новостей.

Куда сильнее его волновали проблемы местного уровня. Например, массовый исход граждан Молдовы за границу, когда и стар и млад сломя голову бежали из страны в поисках лучшей доли. А остающиеся в Молдове, не имея пока возможности уехать, жили надеждой на скорый выезд за границу, свой или своих близких, и в долгом ожидании отъезда голосовали за те политические партии, что сулили народу скорейшее вступление в Евросоюз. Голосование их питала не вера в скорое возрождение молдавской нации от соприкосновения с европейской культурой, а надежда на смягчение таможенных барьеров, при котором легче будет бежать из проклятой Молдовы с её нищетой, моральным разложением общества и невиданной коррупцией во властных структурах. Исход многонационального населения страны за рубеж носил столь чудовищный характер, что сообщения о локальных катаклизмах экономически развитых стран Запада не вызывали у Виктора Васильевича ничего кроме брезгливого раздражения. На фоне разрастающейся демографической катастрофы в Молдове переживания молдавских радиокорментаторов по поводу снегопадов на горнолыжных курортах Центральной Европы казались Виктору Васильевичу не меньшим кощунством, чем бахвальство молдавских политиков количеством денег, перечисленных на родину молдавскими гастарбайтерами. Виктору Васильевичу хотелось тогда спросить у этих политиков, какое будущее они видят у страны, население которой поголовно стремится за границу? Кем будет воплощено будущее Молдовы, если молодѣжь ничего кроме презрения к родному краю не испытывает?

В радиовыступлениях молдавских политиков Виктор Васильевич пытался услышать ответы на мучавшие его вопросы. Но ничего кроме невразумительной болтовни на тему европейского будущего Молдовы да сожаления о том, что Евросоюз и США вместо того, чтобы хозяйской рукой навести в Молдове порядок, ограничиваются советами, как молдаванам лавировать в мутных водах экономической неразберихи, он не услышал. Глухой, непробиваемой безнадегой отдавали слова молдавских политиков. И даже те из них, кто называл себя «истинными патриотами», не видели сколько-нибудь радостного будущего в существовании самостоятельного молдавского государства.

Жалобное нытьѣ «патриотов» о том, что воры и хапуги узурпировали в Молдове власть, пуще громогласных заявлений «узурпаторов» о скором уже объединении с Европой раздражало Виктора Васильевича. Он никак не мог взять в толк, почему люди, которые, как они выражались, всей душой болели за Молдову, не приходят к власти. Если они – добро, то почему добро настолько бездеятельно, что зло свободно поднимается и верховодит жизнью? Да и кто, интересно, допустит зло к власти? Среди нынешних политиков днём с огнѣм не отыщешь откровенных злодеев. Все политики благородны, умны, все стремятся к справедливости и живут исключительно заботами о своём народе. И даже те, кого сейчас называют ворам и хапугами, ещё недавно теми же ругателями восхвалялись как истинные патриоты, кладущие все без остатка силы на благо отчизны. Виктор Васильевич задался вопросом, когда же происходит превращение патриота в вора? Или что, в битве за власть любовь и сострадание к отечеству вытесняются другими, более прагматичными чувствами? И прагматизм застит глаза настолько, что в его мельтешащей круговерти не разглядеть уже, где собственно патриотизм, а где примитивная жажда власти?

Однако, решив подцепить крюком правды нынешний политический строй Молдовы, Виктор Васильевич понимал, что для достижения творческого совершенства мемуаров одной критики будет мало. Ею и так кипело всё молдавское информационное пространство. Для обретения мемуарами смысловой полноты Виктор Васильевич ощущал необходимость предложить если не новую модель государственного устройства Молдовы, то хотя бы новую идею, которая вдохновит страну к возрождению. Замечтавшись, Виктор Васильевич даже представлял себе, что уже выдумал такую идею, и тогда воображение рисовало ему величественную картину дружного и торжественного шествия к новому идеалу объединѣнных его идеей людей.

Впрочем, сильно увлечься фантазиями Виктор Васильевич себе не позволял. Отрезвлѣнный мыслью, что и «дружное» и «торжественное» шествие к светлому будущему его страна уже совершала, он с грустью сожалел о невозможности возврата к былому. Потому что некуда было возвращаться. Не стало больше Советского Союза. Исчезла великая страна. Но люди этой страны ещё остались. «И не просто остались, – тяжело вздохнул Виктор Васильевич. – Руководят бывшими социалистическими

республиками! Нами руководят!» Горечь, вызванная пониманием того, что сегодняшнее невероятное количество мздоимцев, казнокрадов, воров и грабителей не с неба упало, а проросло всё из той же советской эпохи, наводила Виктора Васильевича на мысль о беспомощности любой политической системы – даже советской, с её мощнейшим аппаратом принуждения, воспитания и исправления – перед неприступной глыбой порока. И, значит, предлагаемая Виктором Васильевичем идея должна будет не идеализировать человека, а признавать в первую очередь его порочность. И, значит, целью новой идеи должно быть исправление самой человеческой природы. А это задача планетарного масштаба, одолеть которую до Виктора Васильевича как только ни пробовали: и любовью, за что принесена на кресте великая Жертва; и кровью, полноводные реки которой затопили отрѣкшуюся от Бога страну рабочих и крестьян; теперь вот американским долларом пытаются, бумажными костылями подпирая нетвёрдый шаг алчущих хлеба землян.

Виктор Васильевич засомневался вдруг, а смогут ли его мемуары изменить человечество, если даже столь мощные попытки потерпели неудачу. Да и что нового он может выдумать? Ведь и грёзы о едином стремлении человечества к заветной мечте были, по сути, калькой с идеалов его социалистической молодости, снова увлѣкшись которыми, он заплутал по уже протоптаным идеологическим тропам в безуспешном поиске нового осмысления человека.

Виктор Васильевич спохватился, что, не способный породить высокой идеи, он не сможет в мемуарах приподняться над ностальгической плоскостью воспоминаний и его рассказы будут грешить тягостным морализированием, старческим брюзжанием и нудным стремлением отчитать и указать место. А имел ли он право отчитывать и поучать? Прежде чем бросить в лицо власть имущим обвинительное слово, он спрашивал себя, сам-то он что сделал, чтобы его стране жилось лучше? И если его не устраивают нынешние руководители республики, то почему он сам не предпринимает никаких мер, чтобы оказаться у власти и взять бразды правления в свои честные руки?

«Эк я хватил, – усмехнувшись своему честолюбивому порыву, пробормотал Виктор Васильевич. – Куда мне лезть сейчас? В моём возрасте быстрее с Богом встретишься, чем с электоратом».

И в то же время он не мог не признаться себе, что возраст – не главная причина его отсутствия во властных структурах. Сидя над нетронутым листом бумаги, Виктор Васильевич вспоминал, что в постсоветские годы, когда открывались новые возможности и он вполне мог проявить себя в политике, судьба родной земли интересовала его куда меньше, чем личный комфорт и благополучие. Вместо того чтобы стремиться во власть, он обустроивал собственный быт. Да что там раньше! Даже сейчас, решив писать мемуары и задумываясь над глобальными проблемами бытия, мысль его предательски уносилась от вопроса личной ответственности перед страной и народом к проблемам не менее глобальным, но непосредственно к нему отношения не имеющим. Куда легче думалось о таянии арктических ледников или гибели от халатности англо-американских нефтяных корпораций Мексиканского залива, чем о насущных проблемах современного молдавского общества. К тому же не способный побороть в себе советского мировоззрения, он всё равно волей-неволей мыслил масштабами Советского Союза, а не новыми категориями современной Молдовы. Поэтому ему показалось, что, нарушив назидательными советами белизну чистого листа, он, сам бездеятельный, осквернит не только собственную совесть, но и память, и совесть великой некогда страны.

Виктор Васильевич отстранился от письменного стола с чувством, что не имеет морального права поучать других людей жизни. Но если не писать, то что тогда делать? Как изменить окружающий его мир к лучшему?

Сгорбившись, зажав ладони между коленей, Виктор Васильевич сидел в шаге от письменного стола, тихо покачивался на стуле и вопросительно поглядывал на чистый лист бумаги. После всего им передуманного он чувствовал потребность совершить значимый поступок, но что именно сделать сейчас в своём положении, не догадывался.

Вдруг усмехнувшись, он выпростал руки, хлопнул себя ладонью по лбу и заулыбался счастливо, облегчённо. Он понял, как, не нарушая чистоты белого листа, оправдаться перед собственной совестью.

Виктор Васильевич встал из-за стола и вышел в кладовку. Переодевшись в спецодежду, он натянул на руки резиновые перчатки, сунул подмышку свѣрток с целлофановыми пакетами, прихватил веник и совок и отправился убирать в подъезде.



## Олег РУБИНШТЕЙН



*Родился 15 декабря 1958 года в Кишиневе. Окончил Московский заочный университет искусств и Кишиневский Политехнический институт им. С. Лазо, факультет архитектуры. Член Союза художников Республики Молдова, член Международной ассоциации художников А.И.А.Р. ЮНЕСКО (Париж).*

**Над пропастью в раю**

Слова – почти синонимы,  
купе на автобане. Убавишь  
скорость – закружится голова,  
закрутит в вихре водоворот  
признаний, и, веришь ли,  
от этого спастись нельзя.  
И разум вновь встревожен,  
Причина – мой неосторожный  
взгляд с ума вас сводит.  
Уже вы на краю, над пропастью  
в раю. Но рай – не настоящий,  
нет дела никому. Любовь –  
триумф надежды, и ложкой  
на бокале ты отбиваешь дробь.  
Бокал ответит гулко, как будто  
запевая, и приглашение будет  
по разуму гулять. Когда бокал  
полнится, мелодия искрится,  
и резонанс творится с бокалом  
по соседству. Взгляну украдкой  
и кивну ямками на щеках,  
улыбкою Джоконды улыбнусь.  
Да, розы в икебане, нет,  
со мной вы не знакомы,  
люблю я быть один.

**Обращение мужчины к Богу**

Господи, благодарю Тебя за то,  
что Ты создал меня человеком,  
а не каким-нибудь гадом ползучим  
или животным... Ибо человек –  
высшее Твоё создание...  
Господи, благодарю Тебя за то,  
что Ты создал меня мужчиной,  
ибо переносить то, что выносит  
женщина – невысказано...

Наверное, есть скрытый смысл в том,  
что женщина создана из Моего ребра.  
До сих пор у меня саднит слева,  
ниже сердца... Видно, Ты создал Её  
в помощь мужчине, чтобы он не был  
одинок. Женщина порой берёт  
на себя мужнины тяготы, а вот  
многие мужчины уподобились  
женщинам... Господи, благодарю  
Тебя за то, что всем воздаёшь  
по заслугам и не оставляешь  
страждущих вниманием своим.

**От кутюр**

Как-то раз Гоген  
пришёл к Ван Гогу:  
– Засадил я занозу  
себе в ногу, помоги  
мне вытащить её  
и чайник заодно  
поставь скорей.  
Вот примерно так  
зарождалось высокое  
искусство от «кутюр».  
Простой был быт.  
Простыми были нравы.  
И чай классики пили,  
как мы, крепко заварив,  
часто ругались и даже  
дрались, выясняя, чья  
концепция действенной,  
и в итоге разругались.  
Но в истории они остались  
оба как основатели  
собственного стиля,  
а не как два сноба.

### Хозяин неба

Я руками небосвод раздвину,  
взглядом сосчитаю звёзды,  
все ль на месте? Если надо,  
подвину, если нужно, подкрашу,  
всех построю по размеру и цвету  
и какую-то звезду назначу старшей.  
Может быть, свою секретаршу?  
И светить они станут ярче,  
как оловянные солдатики на марше...  
Всё теперь в моих силах,  
всё должно стать красивым,  
как ты, любимая.

### Свой скоротечный мафусаилов век

Одуванчиковое лето подсолнухом,  
как звонким солнцем, согрето.  
Сгибаются могучие платаны  
под тяжестью небесной синевы.  
Плоды их жизни уже давно  
не вырастают с тех пор,  
как тысячи лет назад их  
испугали всемирные потопа  
и прочие катаклизмы. Нам  
бережнее к ним отнестись бы,  
ведь им дожить необходимо  
свой скоротечный мафусаилов  
век. Но дольше их живёт  
секвойя, вот это дерево большое.

### И дни продлит надежды и печали

Блокнот, испелелённый мыслью...  
Слова мне подавал Предвечный,  
чтобы клал их в город вечный,  
в стены, башни и мостовые,  
бани и игровые, чтоб рассекал  
историю мира, как вижу её я,  
и персонажам воздал по заслугам,  
чтоб человечество стало лучше  
и перестало вечно бить баклуши,  
чтоб начало на совесть трудиться  
и заповеди выполнять, тогда  
Предвечный перестанет злиться  
на нашу глупость детскую, и к нам  
расположится, и дни продлит  
надежды и печали, чтоб жили  
мы и дальше, и страдали...

### Если бы я вдруг проснулся в 3025 году

Три тысячи двадцать пятый год.  
Ярко-красный марсианский пейзаж.  
На горизонте следующая картинка:  
прозрачно-серебристые небоскрёбы  
из материалов неясного происхождения,  
вырастающие один из другого,  
заполняют собой окружающее  
пространство по всем уровням высоты.  
Это напоминает давнишний вид  
на Нью-Йорк со стороны моря,  
только – в более скупых тонах,  
но с необыкновенной четкостью  
изображения, возможно, даже – 100 D.  
Какие-то неизвестные, блёклые  
и тонкие «провода» протянулись  
от строения к строению, по верхушкам  
объединяющие их, в некую общую  
структуру. Множество огромных  
экранов-мониторов, и мелькающая  
на них непонятная нам реклама.  
Разветвлённая сеть воздушных космолиний.  
На фоне красно-краплатового неба  
множество различных космических  
аппаратов, одновременно висящих  
над этим урбанистическим конгломератом.  
Справа, вдалеке мерцает тысячами огней  
громада космодрома. Слева надпись  
на огромном светящемся мониторе: Добро  
пожаловать в Космо-Мега-Полис – ДИАДИДУ.  
Приземляется очередной рейс  
звездолёта с Венеры, с некоторых пор –  
второй Родины людей. С планетой Земля –  
люди распрощались около тысячи лет назад.  
На ней иссякли все природные ресурсы,  
разрядилась атмосфера, и жизнь стала  
невозможной. Сегодня на ней оставляют  
недостойных или провинившихся.  
Впереди задача – примерно за двести  
пятьдесят лет найти твёрдую почву  
на Юпитере или на других планетах  
Солнечной Системы, научиться строить  
жизнь на подобных газовых гигантах.  
Организовать на них первые колонии  
и заселить их. Среди них наверняка  
могут быть планеты, напоминающие  
нашу Землю в её далёком прошлом...



## Роза АБРАМЯН



*Родилась 21 декабря 1934 года в Азербайджане в семье военнослужащего. В Москве получила медицинское образование. Двадцать три года проработала в Молдавском НИИ онкологии. Первая публикация – в 1962 году в газете «Советский патриот». Свои рассказы, сказки и стихи публиковала в газетах «Вечерний Кишинев», «Кишиневские новости», «Молодежь Молдавии», «Семья», «Ноев ковчег».*

**Взорванный рассвет**

*Посвящается школьникам – выпускникам 1941 года*

*«Тот самый длинный день в году  
С его безоблачной погодой  
Нам выдал общую беду  
На всех, на все четыре года...»*

К. Симонов

Земля дремала, будто в колыбели,  
Плыла меж звёздами и меж других миров,  
И тишина, как нежный звук свирели,  
Дарила ей невидимый покров.

Рассвет чуть брезжил, тени пропадали,  
И падала тяжёлая роса,  
И видели немеркнувшие дали  
Вчерашних школьников чуть сонные глаза.

Пора домой, но снова громкий шёпот,  
И смеха всплеск, и девичья рука,  
Усталых ног нестройный тихий топот  
И вновь прощанье – будто на века...

Вдруг всё пропало: и земля, и небо,  
И тишина, и целый белый свет!  
Необъяснимо всё вокруг поблекло –  
Остался только взорванный рассвет.

Потом всё просто – будто так и надо,  
Сдав маме аттестат – в военкомат,  
Нестройным шагом, чуть пилотки набок  
Уходят мальчишки, сжимая автомат.

А вслед глядят молящими глазами,  
Сухими, как земля в неурожай,  
Не машут им сведёнными руками,  
Шепча губами белыми «Прощай...»

Нет, не прощай – храни вас Бог, ребята!  
Мы будем ждать и будем верить вам,  
Страны родной родные нам солдаты,  
Мы всё разделим с вами пополам:

Окопы первые и первый страшный бой,  
Свист пуль над головой и скрежет стали.  
Готовы матери вас заслонить собой,  
Как Родину собой вы заслоняли.

Убит комбат... Встал пожилой солдат:  
«Ну, немец, мать твою... За мной, вперед, ребята!  
За Родину! За Сталина! Ура!!!  
Не посрамим честь русского солдата!»

Стена огня и гром! Стук сердца не унять,  
Не преодолеть земного притяженья,  
Не выдержать свой вес, не головы поднять,  
Но надо выиграть с самим собой сраженья.

И как отцы в семнадцатом когда-то  
В последний бой с «Интернационалом» шли,  
В свой первый бой вставляли в рост ребята –  
И падали в объятия земли.

А девочка, с последней школьной парты,  
Тащила их назад что было сил,  
И от передовой до медсанбата  
«Спаси, сестричка...» – раненый молил.

Другой шептал: «Оставь, тебе не сдюжить...»  
А третий, умирая, говорил: «Где мама? Мама!» –  
«Родненький, послушай...»  
Сестра сказала. Он глаза закрыл.

И пот, и слезы – всё катилось градом.  
В кровь содраны коленки и щека.  
«У, сволочи! Ну что вам, гады, надо,  
Зачем явились к нам издалека?»

Что землю топчете, и хлеб наш жжете?!»  
И тонет в грохоте девичий голосок  
И слабый и большой в конечном счете,  
Как в поле хлебом тонкий колосок.

Но падали не все! А те, что оставались,  
Так шли вперед, что не остановить.  
Они тогда уже решали –  
Нам с вами быть или не быть.

И дошагали вместе до Берлина,  
И пол-Европы трудным маршем обошли.  
С боями грозными, кровавыми, святыми  
Седые мальчишки – освободители земли.

А с ними шли герои Краснодона,  
Матросов Саша, Нина Бурмина,  
Космодемьянский Шура и его сестрѐнка,  
Что босиком в бессмертие ушла...  
Салют победный в вашу честь, ребята,  
Тех, что остались молодыми навсегда.  
И подвиг неизвестного солдата  
Народы не забудут никогда!

В салюте слышен колокол Хатыни  
И голос Лидице, и Бухенвальда звон.  
Вот Бабий Яр, вот Пескаревского святыни  
И Бреста крепость – здесь со всех сторон.

Вот Карбышев хрустальный, огненный Гастелло,  
Майор Гаврилов, грозный и слепой,  
И Солтыс, павший за святое дело  
Страны своей, земли своей родной.

Еще земля не залечила раны  
И женщины не перестали ждать,  
И письма перечитывают мамы –  
А кто-то хочет снова воевать...

Опомнитесь! Пускай шумят березы,  
Цветут сады и падает роса,  
Смеются дети и лишь счастья слезы  
Пусть наполняют девичьи глаза.

Любовь пусть правит миром и свобода,  
Пусть знают о войне из словарей,  
Пусть люди-братья год от года  
Становятся друг другу всё родней.

Я заклинаю вас Христовым «Не убий!»  
Мудростью Будды, прахом Магомета.  
Давайте вместе Землю сбережем  
И на войну навек наложим вето!

Снова дремлет старая Планета,  
Снова аттестаты вручены.  
Снова от заката до рассвета  
Тишина... и никакой войны.

Если б никакой, нигде. Давайте  
Детям отдадим весь белый свет!  
Слышите, земляне, не взрывайте,  
Не взрывайте никогда рассвет!

## Хлеб

Губами прикасаюсь, как целую...  
И режу стоя, как велел мне дед.  
Подняв с земли кусок, пылинки сдую  
И горько посмотрю тому, кто бросил в след.

Твой аромат – единственный на свете,  
Твоё тепло – любых мехов теплей.  
С тобой в разлуке взрослые и дети  
Прожить не могут даже пару дней.

В краю Кавказском древний есть обычай:  
С кем хлеб вкусил, тот друг тебе навек.  
И пусть по жизни разведёт вас случай,  
Знай – у тебя есть близкий человек!

И вновь тебя вдыхаю и целую,  
Стою перед тобою и молюсь,  
Кладу тебя в протянутую руку  
И слез благословенья не стыжусь...

## Бабье лето

*«У природы нет плохой погоды...»*

*Э. Рязанов*

Лёгких паутинок серебро,  
Буйство красок – осени творенье.  
Это бабье лето к нам пришло –  
Лучшее во всём году мгновенье.

Трепет листьев в нежной позолоте,  
Ласкового солнца тёплый луч,  
На душе покой и упоенье  
И как будто нету в жизни туч.

Запах трав и аромат цветов,  
Облаков плывущих очертанье...  
Неужели год уже готов  
Подарить нам грустное прощанье?

Погоди! Дай надышаться власть  
Запахом грибным лесов осенних,  
Чтобы зимней стужей вспоминать  
Бабье лето – чудное творенье.



## Юрий ХАРЛАМОВ

**Вере Алентовой**

*Народной артистке России  
после пластики лица*

Да, был успех. Вкусила славы  
Оскароница сия.  
Сейчас не труд, а лишь забавы  
В пустых рекламах бытия.  
Там лиц довлеет ракурс разный –  
Не сцен возвышенная суть.  
А раз подтяжка безобразна,  
Прощай, актёрство, здравствуй, суд!

**Анастасии Заворотнюк**

*«Прекрасной няне»  
после пластики бюста*

В печати масса версий,  
Одна убойней всех:  
Так увеличить перси  
Выходит не у всех.  
Бомонд смакует новость –  
Великолепный трюк!  
И плачет Семенович:  
Ей мстит Заворотнюк.

**Нонне Гришаевой**

*Заслуженной артистке России,  
приме «Большой разницы»*

Гришаева Нонна – матрона, мадонна,  
Актриса, певица, звезда и ди-джей.  
Читаю в газете, ищу в Интернете –  
О ней лишь скандалы и сплошь неглиже.  
Зачем же ей, право, такая вот слава,  
Чему в день базарный копейка цена?  
Ведь если по чести, и прелесть на месте,  
И ярким талантом блистает она.

**Претенденткам на титул  
«Мисс купальник – 2011»**

Каждый чем-то интересен,  
И девицы в том числе:  
Кто-то не живёт без песен,  
Кто-то знатен в ремесле.

Нагота девиц не губит,  
Выбор торжествует пусть:  
Раз одетою не любят,  
Значит, голой пригожусь.

**Виктории Тарасовой**

*Звезде телесериала «Глухарь»*

Ею восхищались многократно,  
Путая случайно имена:  
То она – Виктория Тарасова,  
То она – Ирина Зимина.  
Дарованье с красотой повенчано  
И игру достойно ценит зал.  
Но сказать нелишне будет:  
«Женщина,  
Только не закатывай глаза!»

**Тине Канделаки**

*Российской телеведущей*

Что красива – не отнять и не прибавить,  
Что талантлива – сомненье не берёт,  
Раз умеет собирать в телезабаве  
Молодой и любознательный народ.  
Что с мужчинами проблемы – это враки.  
Ведь, у идеала тоже есть изъян:  
Говорлива больно Тина Канделаки –  
Трандычиха, не закрывшая фонтан.

**Анастасии Волочковой**

*Балерине, теледиве*

Кто такая Волочкова,  
Чем известна жизнь её?  
О балете ни полслова –  
Только «грязное бельё»:  
Слёзы, позы и скандалы,  
Танцы за солидный куш.  
Вот и всё. А если мало,  
Допишу – «неверный муж».

**Маргарете Ивануш**

*Народной артистке Молдовы*

Всегда таланту дамы этой  
Была признательность дана:  
Заслуженная Маргарета,  
Теперь народная она.  
Романсы дарит нам и дойны  
Певицы щедрая душа –  
Любого титула достойна,  
В любом концерте хороша.

**Бритни Спирс**

*Английской певице*

Незнакомая мне певица,  
Неизвестная мне модель,

Ты пытаешься повториться,  
 Резво бюст наводя на цель.  
 Но коня ты не остановишь,  
 Не стремишься ни на лёд, ни в кино,  
 Не равняйся на Семенович –  
 Проиграешь ей всё равно.

### Юлии Началовой

*Российской певице*

Нет голоса. Но стати  
 Хватает на двоих.  
 Ты для гламурной знати  
 Своя среди своих.  
 В «Плэйбое» путь твой начат.  
 Мы земляки с тобой.  
 Я рад. А это значит,  
 И я хочу в «Плэйбой».

### Наташе Королёвой

*Российской певице*

Она всегда верна своей стезе,  
 Что ж до успеха, может поделиться,  
 Как одолеть, чтоб говорили все,  
 Путь из глухой провинции в столицу?  
 Себя на сцене обнажи чуть-чуть,  
 Души при том не испытай терзаний.  
 Но голос побережь ты не забудь,  
 Чтоб он не превратился в крик тарзаний.

### Юлии Тимошенко

*Бывшему премьер-министру Украины*

Не верю в то, что любит сало,  
 Коль цвет лица совсем не тот.  
 Но косу в бублик увязала –  
 И вот вам щирый патриот.  
 Хоть и кацапка, но готова  
 За интересы постоять.  
 А дуже гарна рідна мова  
 Шановной панночке под стать.

### Двум Мариям

*Дочерям Андрея Миронова*

Абсолютно не веря в пророчества,  
 В совпадения женщин я вник:  
 На двоих одно имя и отчество,  
 То есть папа единый у них.  
 Служат Музе театра, снимаются,  
 Дети есть и разводы у дам.  
 Ну а чем же они различаются?  
 Именами своих разных мам.

### Анне Семенович

*Певице, фигуристке, телеведущей*

Когда такая грудь дана,  
 Не плакать – радоваться нужно,  
 Коль дышат мужики натужно  
 И восторгается страна.  
 Краса в любые времена  
 Под громы пробок и оваций...  
 Но как уверить папарацци,  
 Что натуральная она?

### Виктории Лыс

*Барду, поэту, композитору*

Всему училась понемногу,  
 Душою многое любя.  
 Она талантлива от Бога,  
 А уж красива – от себя.  
 Стихам, гитаре, мужу, детям  
 Своё вниманье отдаёт.  
 Воспела лень. Но даже в этом  
 Видна талантливость её.

### Татьяне Навке

*Чемпионке Туринской зимней олимпиады,  
 секс-символу 2007 года*

Красой и грацией медальной  
 Туринский зритель покорён.  
 Как ни велик успех недавний,  
 Он тоже должен быть продлён.  
 Пока Турин от спорта млеет,  
 Секс-титул присуждён тебе  
 И пол-России воделеет  
 Партнёрства в спорте и в судьбе.

### Наталье Гордиенко

*Молдавской певице*

Эстрадной внимание нивы  
 К себе привлекает она –  
 Во всяком наряде красива,  
 В любом фотокадре стройна.  
 Волною возвышена новой,  
 И каждый её узнаёт  
 Как символ далёкой Молдовы,  
 Который прилично поёт.

Светлана БУРКА

**Важный индюк**

Очень сердится индюк –  
Ему хочется на юг.  
Птицы песенки отпели  
И на юг все полетели.

Ты, индюк, прошу – не злись,  
Очень сильно не сердись.  
Ты огромный, как сундук,  
Не попасть тебе на юг.

И не важничай давай,  
К птицам ты не приставай.  
Не годишься им в друзья,  
Хоть ты птица, но не та.

Но не слушает индюк –  
Хочет полететь на юг.  
Посмотреть, как там живут,  
Он решил – его там ждут.

И сказал он важно птицам:  
«Может, хватить веселиться?  
Улетаете на юг, вы забыли – я ваш друг.  
Не оставьте вы в беде, позаботьтесь обо мне.

Птицам стало так смешно:  
«Не взлететь вам ни за что!»  
Индюку они сказали  
И опять смеяться стали.

Долго думал наш индюк,  
Как попасть ему на юг?  
Может, сбросить полкило  
Или хватит граммов сто?

Нужно быстро похудеть  
Для того, чтобы взлететь.  
Тут нужна одна диета –  
Я подумаю об этом.

Вот прошло четыре дня –  
Закружилась голова.  
На пятый день и на шестой  
Индюк ходил как не живой.

Что же это за еда?!  
Каждый день одна вода.  
Похудел на полкило –  
Это только и всего?

И решил тогда индюк:  
«Мне не нужен этот юг.  
Не взлететь мне никогда,  
Птицы пусть летят туда.  
Жить худым мне ни к чему,  
Я солидным быть хочу».

**Про ежа и хитрую лисицу**

У колючего ежа  
Очень дружная семья.  
Много маленьких ежат  
На кроватках тихо спят.

Приучает ёж к труду  
Всю большущую семью.  
Утром рано он встаёт,  
На зарядку всех ведёт.

А на завтрак пироги  
Всем ежата испекли.  
Вот ежиха молока  
В кружки быстро налила.

Только сели у стола –  
Прибежала тут лиса.  
Запах по лесу идёт –  
Кто же мимо тут пройдёт?

Села хитрая за стол,  
Глазки опустила в пол.  
Притворилась, что скромна,  
Всех хвалила, как могла.

«Ой, какой красивый ёж!  
В доме ты каком живёшь.  
Просто вылитый дворец –  
Да ты просто молодец.

Глазки, бусинки твои, –  
Мне так нравятся они.  
А какой курносый нос –  
Где ещё такой найдёшь?

Ну а детки-то какие –  
Просто чудо, золотые.  
Не колючие совсем –  
Пирожок последний съем?

А ежиха хороша!  
Мне ещё бы пирожка.  
Долго помнить я вас буду,  
Уж поверьте, не забуду!»

У колючего ежа закружилась голова.  
Он живёт уже давно, не хвалил его никто.  
Тут последний пирожок  
Вдруг лисе попал в мешок.

Тут лиса тихонько встала,  
Поклонилась и сказала:  
«Угостили вы меня –  
Вот объелась сильно я».

Свой погладила живот,  
Улыбнулась во весь рот.  
К двери быстро подошла  
И, конечно же, ушла.

Ёжик долго всё сидел  
И в тарелочку смотрел.  
Не досталось пирожка –  
Вот лиса как подвела.

### Мышка «Грызунья»

Жила-была на свете мышка. Была она очень маленькая, но зубки у неё были острые-преострые. Звали её «Грызунья», потому что грызла она всё подряд. Ей очень нравилось это занятие. Однажды мышка так увлеклась любимым делом, что даже не заметила, как перегрызла в своём домике все стены. Потом добралась и до крыши. «Ты что делаешь?» – спрашивали соседи. «Ничего особенного – отвечала она, – я новый дом себе скоро построю из кирпича. Вот тогда и заживу в нём всем на зависть. А сейчас лучше не мешайте». Но время шло, а мышка и не думала больше о доме. Целыми днями любовалась она на себя в зеркало, примеряла наряды. Уже и крыша была вся в дырах, но мышка не обращала на это никакого внимания. Кроме того, у неё нашлось занятие поинтересней – хрустеть сухариком с утра до ночи и горя себе не зная. Но начались сильные дожди. По стенам лилась вода, на полу образовались лужи. Стало сыро и неуютно в таком доме. Мышка забилась в угол, накрылась мокрым, дырявым одеялом и дрожжала как осиновый лист на ветру. Вот так она провела всю ночь. А наутро дождь перестал, выглянуло солнышко. Мышка обрадовалась, выбежала на улицу и забыла обо всём на свете. «Что ещё нужно? Я опять счастлива, – подумала она. – Да и зачем мне строить новый дом? Кругом столько красивых домов. Выберу себе получше и буду жить в нём. А не понравится, побегу дальше». Выбрала себе дом побогаче, быстренько прибежала туда и спряталась. Она такая маленькая, серенькая – её никто и не заметил. Вот только по ночам не давала она покоя. Всё грызла и грызла. Выследили её хозяева, поймали и выгнали на улицу. Но мышка не огорчилась: «Велика беда, – подумала она, – на свете много других домов». Так она и бегаёт до сих пор из дома в дом и успокоиться никак и не может. Посмотрите-ка получше: может, она и к вам прибежала?



Ирина КОРОТЧЕНКОВА

проект осуществляется при поддержке компании Orange



## Пансори

Продолжение. Начало в №4, 5.

**В** столице королевства Сеуле Ли Монгрэнг усердно учился, готовясь к государственным экзаменам на чиновничью должность, которые ежегодно проходят в Сеуле, и даже освоил знаменитую китайскую классику. Накануне экзаменов во дворце Академии конфуцианских наук – Сонгонкване – собралось много народу. Сюда съехались ученые-конфуцианцы из всех восьми провинций Кореи. Каждый держал стопку самой лучшей бумаги, самую мягкую кисть для написания иероглифов, чернильницу с черной тушью и втайне мечтал занять на экзаменах первое место, что давало право на хорошую должность. От экзаменов зависело будущее, ведь решался вопрос, быть или не быть чиновником, а значит, обеспеченным человеком. Монгрэнг сдал экзамены с наилучшими результатами и был квалифицирован на должность в королевской службе.

Поздравляя Монгрэнга с успешной сдачей экзаменов, Король поинтересовался, кем он хочет стать: губернатором или мэром?

– Мой Король, – с почтением отвечал Монгрэнг, склонившись в глубоком поклоне. – Я хочу получить должность секретного агента на королевской службе – амхенг-оса.

– Но ты должен знать, что жизнь их очень непроста! – удивился Король.

– Да, я знаю, что секретные агенты, переодетые нищими, путешествуют по всей стране, выясняя, какие чиновники превышают свои полномочия и кто из них коррумпирован. Но они также вникают в нужды и проблемы населения провинций и помогают улучшить качество жизни. Я очень хочу иметь возможность помогать простым людям и наказывать зарвавшихся чиновников.

– Что ж, так тому и быть, – согласился Король.

Вскоре Монгрэнг со своими соратниками прибыл в окрестности Намвона и остановился в маленькой деревушке, где жили фермеры, выращивающие рис.

– Как вам живется? – поинтересовался юноша у работающих крестьян.

– Мы изнурительно работаем под палящим солнцем, перепахивая наши поля, сея семена, чтобы вырастить рис, – отвечали крестьяне. – Мы платим дань Королю, часть прибыли отдаем бедным, часть – путешественникам, тем, кто постучится в нашу дверь, и часть пытаемся отложить для наших семейных нужд. Все было бы хорошо, но мэр Намвона вымогает с нас последнее, и скоро нам нечего будет есть. Заинтересованный, Монгрэнг спросил: «Я слышал, что ваш мэр женился на прекрасной Чунянг и они счастливы вместе. Так ли это?»

– Как ты смеешь говорить такое?! – возмутился один из крестьян. – Наша Чунянг – верная, чистая и добрая девушка, а ты – дурак, если так говоришь о ней и об этом жестоком тиране. Ее судьба очень печальна, так как сын бывшего мэра соблазнил эту бедную девушку, а затем бросил и никогда не возвращался, чтобы ее навестить. Он – просто подлец!

Гнев фермеров шокировал Монгрэнга, а позже он узнал, что многие жители деревушки думают так же. И не только они – даже местные аристократы разделяют людское возмущение. Он встретил янгбанов на пикнике, где молодые люди декламировали стихи и любовались окрестными холмами. Один из студентов читал поэму о несправедливом и жестоком правителе этой провинции. Когда он закончил, его приятель сказал: «Наступили печальные дни! Я слышал, что прекрасная Чунганг будет казнена через два или три дня».

– Да, наш мэр – настоящий негодяй! – заметил один из участников пикника. – Он только и думает о том, чтобы подчинить и сломать Чунганг, но она – как сосна или бамбук, которые никогда не гнутся. Она остается верной женой своему супругу.

– Чунганг вышла замуж за сына бывшего мэра, – добавил другой. – Какая же свинья ее муж! Он бросил бедную девушку и уехал, а сейчас она в настоящей беде!

Сердце Монгрэнга сжалось от тоски и тревоги. Пристыженный всем, что услышал, он кликнул своих помощников и поспешил в Намвон.

За то время, что Чуняннг провела в тюрьме, она похудела, побледнела и совсем обесилила. Одно ее слово – и мэр забрал бы ее к себе и окружил вниманием и заботой, но она оставалась верной своему супругу. Однажды ей приснился сон, в котором она увидела свой дом и сад, где все цветы, посаженные и выращенные с большой любовью, завяли. Зеркало в ее комнате было разбито, а ее туфли сиротливо висели в проеме двери. Она проснулась испуганная и окликнула слепого прохожего, постукивающего тростью у тюремного окошка, и попросила истолковать свой сон.

– Я растолкую тебе, что означает твой сон, – согласился слепой. – Засохшие цветы приносят плоды, звон разбитого зеркала будет слышен далеко отсюда, а туфли над дверью означают, что большая толпа людей придет к тебе с поздравлениями.

Чуняннг поблагодарила слепого, помолилась за него и за то, чтобы все его предсказания сбылись. Однако реальность была совсем иной. Чуняннг слабела с каждым днем, с каждым часом и чувствовала, что кончина ее близка.

А в это время злодей-мэр призвал своих подчиненных и заявил:

– Завтра у меня будет большое торжество, на которое я пригласил многоуважаемых гостей, включая всех мэров из близлежащих городов. Мы славно повеселимся, а после праздника Чуняннг будет казнена.

Темной безлунной ночью в дверь домика Волмэ тихонько постучали. Она открыла дверь – перед ней стоял нищий бродяга.

– Я не знаю, кто ты такой, – сказала она. – Лицом ты напоминаешь мне Ли Монгрэнга, но твои лохмотья говорят о том, что ты – нищий!

– Но я и есть Монгрэнг! – воскликнул юноша и нежно обнял Волмэ.

– Ох! – задыхаясь, прошептала женщина. – Каждый день мы молились, что однажды Монгрэнг придет и постучит в эту дверь. Но поздно, все кончено – уже назначена казнь Чуняннг, и совсем скоро она умрет.

– Послушай меня, матушка, – успокаивал ее юноша. – Несмотря на то что я всего лишь жалкий бродяга, я до сих пор люблю Чуняннг и хочу ее увидеть.

– Ну что же, пойдем, только то, что ты увидишь, тебя вряд ли обрадует.

Волмэ привела Монгрэнга к тюремному окошку и позвала дочь. Чуняннг проснулась и тут же спросила, нет ли вестей от Монгрэнга, не видел ли кто его. В ответ мать сказала, что бродяга, который постучался в дверь их дома, утверждает, что он – Монгрэнг, и хочет ее повидать. Чуняннг посмотрела на юношу, стоящего перед окошком. Ей было все равно, что его одежды обветшали и что, скорее всего, его жизнь в Сеуле не удалась, а мечты не сбылись. Она потянулась к нему через решетку, прилагая все усилия, чтобы приблизиться к любимому как можно ближе.

– Я, может, и выгляжу как бродяга, – тихо сказал Монгрэнг. – Но мое сердце – не сердце бродяги! И оно по-прежнему принадлежит тебе.

– Мой дорогой, – отвечала Чуняннг, – какие же испытания выпали на твою долю, какой тяжелый путь ты проделал! Возвращайся домой к моей матери и отдохни немного. Только, пожалуйста, приходи завтра утром к моему окошку, я хочу еще раз увидеть тебя перед тем, как умру. Завтра, после праздника у мэра, я буду казнена.

Монгрэнг вернулся с матушкой Волмэ в ее дом, и она постелила ему в комнате Чуняннг. Но утром, открыв дверь, Волмэ с удивлением обнаружила, что юноша исчез. Он действительно встал очень рано и созвал своих соратников, так же, как и он, переодетых бродягами, чтобы дать строгие указания для дальнейших действий.

В то время, когда мэр принимал своих гостей и председательствовал на роскошном банкете, Монгрэнг пробрался в его резиденцию и подошел к хозяину торжества.

– Я – бедный человек, – сказал он, склонившись в глубоком поклоне. – Я очень голоден. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь поесть.

В те времена в Корее во время больших праздников бедным людям разрешалось просить подаяние у высокопоставленных особ. Но взбешенный мэр приказал слугам вышвырнуть нищего за ворота. Однако Монгрэнг снова проник в резиденцию мэра, перебравшись через стену. Первым из гостей, кого он случайно встретил, был мэр города Унбонга по имени Пак Ёнгджанг. Юноша снова повторил свою просьбу дать ему поесть, и тот, ис-

пытывая сострадание, позвал одну из танцовщиц и попросил принести немного еды для этого нищего.

– Я очень благодарен за то, что вы приказали принести мне еду, – обратился к Ёнджангу Монгрёнг, низко поклонившись. – Я – ваш должник, и хочу ответить на вашу доброту маленьким стихотворением.

Он протянул бумагу, на которой были написаны стихи, Ёнджанг тут же начал читать:

*Прекрасное вино в золотых кубках –  
Это кровь тысяч людей.  
Отличное мясо на нефритовых столах –  
Это – плоть и мозг тысяч жизней.  
А слезы голодных людей обжигают  
И льются из впалых глаз.  
Громче, чем звуки песен куртизанок,  
Звучат стоны угнетенных крестьян.*

– Но это против нас! – закричал встревоженный Ёнджанг и передал стихи хозяину торжества.

– Кто написал это? – взревел мэр.

– Вот этот молодой попрошайка, – ответил тот и указал на Монгрёнга.

Ёнджанг был очень напуган мыслью о том, что тот, кто написал эти стихи, не может быть простым нищим.

– Извините, но у меня срочные дела, которые вынуждают меня покинуть ваш праздник, – вдруг заявил Ёнджанг и с этими словами двинулся к выходу. За ним потянулись остальные гости, но только им не удалось выйти из зала. Они были остановлены помощниками Монгрёнга, ждущими снаружи с обнаженными мечами. В тот момент все гости поняли, что этот нищий-поэт – амхенг-оса – секретный агент Короля. Гостей вывели из зала, и они испуганно столпились в одном из углов внутреннего двора, а Монгрёнг предъявил королевский мандат и приказал послать курьера в тюрьму и привести Чунянга.

– Скажите ей, что прибыл посланник Короля. Он должен выслушать ее дело и свершить правосудие, – объявил Монгрёнг.

Тем временем Чунянг, так и не дождавшись своего любимого, просталась с матерью:

– Матушка, пришел мой час. Где же Монгрёнг, и почему он не пришел повидать меня перед смертью?

– Прекрати болтать, тебя ждет посланник Короля! – прошипел курьер и, не дав матери ответить, повел Чунянга в резиденцию мэра.

С девушки сняли круглый деревянный ошейник, укрепленный на шее, и поставили ее в центре внутреннего двора перед сидящим в тени ширмы секретным королевским агентом, лицо которого было скрыто от взора.

*Продолжение следует.*



Com.

Tiraj 1000 (3500) ex.

Î.S. Firma editorial-poligrafică «Tipografia Centrală»

MD-2068, Chişinău, str. Florilor, 1

Tel. 43-03-60, 49-31-46